

*Лара Вейн*

*Хроники  
Караннина  
Александровский  
Протокол*

18+

Лара Вейн

**Хроники Карантина:  
Александрийский протокол**

«Автор»

2026

**Вейн Л.**

Хроники Карантина: Александрийский протокол / Л. Вейн —  
«Автор», 2026

Реставратор умирает в Александровском кремле, оставив внуку загадку глаголицей. Под колокольной Ивана Грозного диггер Максим и криптограф Софья находят платиновые листы легендарной Либереи — летопись того, как древние цивилизации трижды дарили людям огонь и трижды видели пожар. Теперь за листами охотятся корпорации и правительства, а след ведёт к руинам Херсонеса.

© Вейн Л., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Вместо предисловия                | 5  |
| Факты                             | 7  |
| Пролог                            | 8  |
| Часть первая. Ключи и тени        | 14 |
| Глава 1. Оборот иконы             | 14 |
| Глава 2. Немой колокол            | 24 |
| Глава 3. Тридцать три ступени     | 37 |
| Глава 4. Свет сквозь металл       | 48 |
| Глава 5. Хапиловка                | 57 |
| Глава 6. Зелёная земля            | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 67 |

# Лара Вейн

## Хроники Карантина: Александрийский протокол

### Вместо предисловия

*Роман является художественным произведением. Исторические лица и события изображены в нём в вымышленных обстоятельствах; диалоги и частная жизнь исторических персонажей — плод авторского воображения. Все современные персонажи вымышлены, любые совпадения случайны.*

*Льву*

Если ты читаешь это, значит, я не успел рассказать тебе сам.

Тебе сейчас четыре месяца. Ты спишь в соседней комнате, в кровати, которую я сколотил из досок, выброшенных морем на берег, и пахнешь молоком и ветром. За окном — маяк. Он мигает каждые одиннадцать секунд. Я сижу за столом у окна, пишу, и каждые одиннадцать секунд комнату заливают белым светом, а потом снова темно. Как будто кто-то подмигивает. Мама говорит, что это мне кажется. Мама вообще считает, что мне много чего кажется. За последний год выяснилось, что она в этом не всегда права.

Название острова я писать не буду. Ты его знаешь — ты здесь живёшь. А больше никому знать не нужно.

Я пишу это на случай, если меня не будет рядом, когда ты вырастешь. За нами охотятся. Не одна страна и не одна корпорация — все сразу. Все, кто хоть краем уха слышал о том, что мы с мамой нашли под землёй прошлой зимой. Они ищут нас уже одиннадцать месяцев. Пока не нашли. Но я инженер-геодезист, Лёва. Я привык считать. И я знаю, что любая вероятность, если её помножить на достаточное время, становится единицей.

Поэтому — эта тетрадь.

Я напишу здесь всё. Как всё было. С самого начала — с ноябрьской ночи, когда умер твой прадед Лев Аркадьевич, которого ты никогда не увидишь и в честь которого тебя назвали. До той минуты, когда мы с мамой стояли в темноте под скалами Херсонеса, и я держал в руках ключ, который выковал человек, умерший четыреста лет назад, и должен был решить, что с ним делать.

Я буду писать о себе в третьем лице. «Максим сделал». «Максим подумал». Так легче. Мама говорит, что это как в тех романах, которые она читает в самолётах, — где профессор-символист бежит по Парижу и разгадывает шифры. Я эти романы не люблю. Но, наверное, она права: когда пишешь о себе «он», можно честно написать, что он был дураком. А «я был дураком» — пишется хуже.

Я был дураком, Лёва. Довольно часто. Ты это увидишь.

Тут будет много того, во что трудно поверить. Атлантида. Чудь белоглазая. Шамбала. Иван Грозный, который не был безумцем. Последний русский царь, который хотел спасти мир и не успел. Орден, который четыреста лет охранял человечество от него самого — и однажды сделал то, чего нельзя простить. Ты, наверное, решишь, что твой отец сошёл с ума на этом острове от ветра и одиночества.

Проверь. Всё, что можно проверить, — проверь. Даты, места, имена. Я оставлю тебе, где искать. Твоя мама — лучший криптограф, которого я знаю, и она научит тебя читать то, что не предназначено для чтения.

А потом, когда проверишь, — реши сам.

Потому что однажды тебе придётся выбирать. Так же, как выбирал я. Так же, как выбирал Иван Васильевич в Александровской слободе в тысяча пятьсот шестьдесят пятом году. Так же, как выбирал человек, который в тысяча девятьсот восемнадцатом году выбрал неправильно.

Ты — следующий. Прости меня за это.

Маяк мигнул. Ты заворочался за стенкой. Мама встала к тебе — я слышу, как скрипит половица у двери, она всегда скрипит, я всё собираюсь её прибить.

Начну.

*Твой папа.*

## Факты

*Либерея* — легендарная библиотека московских государей. По преданию, её основу составили греческие, латинские и восточные рукописи, привезённые в Москву Софьей Палеолог, племянницей последнего византийского императора. О книгах из царской библиотеки сохранились упоминания современников XVI века. Её искали в подземельях Московского Кремля, в Александрове, в Вологде, в Коломне. Либерея до сих пор не найдена.

*Александровская слобода* (ныне город Александров Владимирской области) с 1565 по 1581 год была резиденцией Ивана Грозного и фактической столицей опричнины. Распятская церковь-колокольня, построенная там при Иване IV, стоит до сих пор.

*Иван IV* переписывался с королевой Англии Елизаветой I. Часть их переписки сохранилась.

*Сахара* около десяти тысяч лет назад была зелёной: там были саванны, озёра, жирафы и бегемоты. Этот период учёные называют «африканским влажным периодом». Он закончился около пяти с половиной тысяч лет назад. Скорость, с которой зелёная Сахара превратилась в пустыню, до сих пор обсуждается.

*Город Ур* в Месопотамии пал около 2000 года до н. э.

*Хараппская цивилизация* в долине Инда, с городами Мохенджо-Даро и Хараппа, пришла в упадок около 1900 года до н. э. Причины её упадка до сих пор не установлены.

*Херсонес Таврический* — древний город на юго-западе Крыма, основанный греками в V веке до н. э. и бывший византийским форпостом на протяжении почти тысячи лет.

Все исторические места, упомянутые в романе, существуют. Все документы, ордена и организации, а также события, связанные с ними, вымышлены.

## Пролог

*Александров, Владимирская область. 6 ноября 2026 года, 23:47*

Лев Аркадьевич Гордеев, реставратор высшей категории, восьмидесяти четырёх лет от роду, понял, что сегодня умрёт, когда услышал, как внизу, в пустом музейном коридоре, кто-то аккуратно вытер ноги.

Не пнул дверь. Не выругался в темноте, налетев на леса. Вытер ноги. О коврик у служебного входа. Медленно, тщательно — левую, потом правую, — как вытирает ноги вежливый гость, который пришёл надолго.

Сторож Николай так ноги не вытирал никогда. Сторож Николай ушёл в девять, сказав: «Аркадьич, ты уж сам закрой, у меня внук с температурой», — и Лев Аркадьевич закрыл. Сам. Изнутри. На оба замка и на старинный засов, который в Александровском кремле помнил ещё, наверное, царских стольников.

Значит, тот, кто вытирал сейчас ноги, открыл оба замка. И засов.

Лев Аркадьевич положил кисть на край стола. Беличью, номер два, с которой час назад снимал копоть с лика святого Никиты на старой доске. Выпрямился — медленно, со скрипом, как всё теперь делал. В мастерской горела одна лампа, на гибкой ноге, над столом. Остальное было в темноте: стеллажи с досками, банки с растворителями, мольберты, покрытые простынями. Окно — узкое, в полметра толщиной стены, — смотрело во двор кремля. Во дворе было черно. Шёл первый снег.

Шаги поднимались по лестнице. Неторопливые. Ровные. Человек знал, куда идёт.

У Льва Аркадьевича было, по его подсчётам, сорок секунд.

\* \* \*

Он думал об этом три недели. С того самого дня, когда при расчистке подклета Распятской колокольни — работа была плановая, по программе реставрации, деньги выделили ещё весной — его рабочий, мальчишка Серёжа, ударил ломиком по кладке, и из кладки вывалился камень. Не кирпич — камень. Белый, известняковый, обтёсанный. А на обратной его стороне, на той, что четыреста лет была обращена внутрь стены, было высечено.

Пёсья голова. Метла. И под ними — пять греческих букв.

Лев Аркадьевич тогда отослал Серёжу обедать. Сел на корточки — колени отозвались болью — и долго смотрел на камень. Пёсья голова и метла: знак опричников. Они привязывали к сёдлам собачьи головы и мётлы — грызть измену и выметать её из государства. Это знал каждый школьник. Но в камне — на внутренней стороне кладки, там, где никто никогда не должен был увидеть, — опричный знак делать было незачем. Незачем никому, кроме того, кто хотел, чтобы его увидели однажды. Через сто лет. Через четыреста.

А греческие буквы складывались в слово, которое Лев Аркадьевич прочитал трижды, прежде чем поверил.

ΦΥΛΑΞ.

Страж.

Он сфотографировал камень. Поставил на место. Замазал раствором. А вечером — это была ошибка, теперь он понимал, и это была главная ошибка его долгой жизни — отправил фотографию в базу данных Министерства культуры, как положено при любой находке, с пометкой «знак опричного времени, требует атрибуции».

Через четыре дня ему позвонили. Из Цюриха. Вежливый мужской голос, безупречный русский, лёгкий, едва уловимый акцент — как у человека, который вырос в Москве, а потом тридцать лет прожил в Европе. Представился: Виктор Штерн, консорциум «Прометей», отдел перспективных технологий. Сказал, что консорциум финансирует исследования эпохи Ивана Грозного. Что находка Льва Аркадьевича — сенсация. Что консорциум готов оплатить полную

реставрацию колокольни. И музея. И нового корпуса. И — голос стал ещё мягче — лично Льву Аркадьевичу, за консультацию, сумму, которую он может назвать сам.

Лев Аркадьевич спросил, при чём тут «перспективные технологии». Штерн засмеялся. Хорошо, искренне. Сказал: «Мы смотрим в прошлое, чтобы увидеть будущее. Это наш девиз».

Лев Аркадьевич сказал, что подумает. И положил трубку.

И понял, что камень с пёсией головой надо было оставить в стене.

\* \* \*

Тридцать секунд.

Он не стал звонить в полицию. Полиция в Александрове — это лейтенант Хрусталёв, хороший парень, который придет через двадцать минут, и к тому времени всё уже кончится. Он не стал звать на помощь. Кого? Кремль пуст, вокруг — монастырские стены, снег, ночь.

Он сделал единственное, что мог.

Взял со стола кусок мела. Обычного, школьного, которым размечал на досках участки расчистки. Подошёл к мольберту у окна. На мольберте стояла большая доска — икона «Спас Нерукотворный», шестнадцатый век, только привезённая из запасника, ещё не тронутая. Её закрывала простыня. Лев Аркадьевич приподнял простыню. И на обороте доски, на старом, тёмном, шершавом дереве, быстро, не задумываясь, — как писал когда-то, пятьдесят лет назад, записки внуку, когда тот ещё не умел читать по-русски, но уже умел по-другому, — вывел мелом строчку.

Не кириллицей.

Глаголицей.

Шесть слов. Буквы — круглые, петлистые, похожие на крючки и на маленьких человечков с поднятыми руками. Древнейшая славянская азбука, которую в мире читают несколько сотен человек. И один из них — Максим. Потому что когда Максиму было шесть, его мать уехала на заработки в Португалию, и полтора года мальчик жил у деда в Александрове, и дед, чтобы мальчик не плакал по вечерам, придумал игру: тайный язык. Только для двоих. Глаголица.

Лев Аркадьевич опустил простыню. Положил мел в карман халата. Вернулся к столу. Сел. Взял беличью кисть номер два.

И стал снимать копоть с лица святого Никиты.

Шаги остановились за дверью.

\* \* \*

Дверь открылась без стука.

Человек, который вошёл, был невысок. Средних лет. В тёмной куртке, в тёмной шапке, в перчатках. Лицо — обыкновенное, такое, какое не запоминаешь, даже если смотришь в упор: не худое, не полное, не красивое, не уродливое. Как будто природа, создавая его, решила сэкономить на особых приметах. Только глаза были странные — светлые, почти бесцветные, и смотрели они не на Льва Аркадьевича, а сквозь него, на стену, как смотрят на мебель.

Он закрыл за собой дверь. Тихо. Осмотрелся. Стеллажи. Банки. Мольберты под простынями. Лампа на гибкой ноге.

— Добрый вечер, Лев Аркадьевич, — сказал он.

Голос был негромкий, ровный. Без акцента. Без интонации. Голос автоответчика.

— Музей закрыт, — сказал Лев Аркадьевич, не поднимая головы от иконы. — Приходите завтра. С десяти.

— Я ненадолго, — сказал человек. Подошёл к столу. Посмотрел на икону. На лик святого Никиты, наполовину очищенный, наполовину ещё чёрный. — Красиво. Шестнадцатый век?

— Семнадцатый. Начало.

— Жаль, — сказал человек. — Нам интересен шестнадцатый.

Он взял стул у стены — простой, венский, — поставил его напротив Льва Аркадьевича, через стол. Сел. Снял перчатки. Положил их на колено. Руки у него были белые, чистые, с аккуратными ногтями.

— Виктор Альбертович передаёт вам привет, — сказал он. — И сожалеет, что вы не перезвонили.

— Я был занят.

— Понимаю. — Человек кивнул. — У вас много работы. Колокольня. Подклет. Камень. Лев Аркадьевич поднял голову.

Человек смотрел на него. Бесцветными глазами. Спокойно. Без угрозы. С тем выражением, с каким смотрит кассир в банке на клиента, который пришёл снять деньги и не помнит ПИН-код.

— Под камнем был ход, — сказал человек. — Вы его видели. Вы светили туда фонариком. Двадцать девятого октября, в шестнадцать сорок, когда ваш рабочий ушёл обедать. Вы светили туда четыре минуты. Потом вы заложили его. Раствором. Свежим. Он ещё не схватился до конца. — Человек помолчал. — Куда ведёт ход, Лев Аркадьевич?

— В подвал, — сказал Лев Аркадьевич. — Там все ходы ведут в подвал. Это кремль. Тут под каждой церковью подвал.

— Под Распятской колокольной нет подвала, — сказал человек. — По планам. По всем планам, начиная с тысяча семьсот девяносто восьмого года. Мы проверили.

— Значит, планы врут.

— Планы не врут, — сказал человек. — Врут люди. Планы — молчат.

Он улыбнулся. Едва-едва. Улыбка была такая же неприметная, как лицо.

— Куда ведёт ход?

\* \* \*

Лев Аркадьевич положил кисть.

Он смотрел на человека напротив и думал о странных вещах. О том, что надо было всё-таки бросить курить в семьдесят, как говорила покойная Вера, а не в восемьдесят, когда врач сказал, что уже, в общем, поздно. О том, что Максим не звонил две недели и наверняка опять лазит в какие-нибудь коллекторы под Москвой. О том, что икону святого Никиты он не дочистит, и это жалко, потому что под копотью там, кажется, очень хороший письмó, северное, тонкое.

О том, что сердце, которое последние полгода стучало с перебоями — тук, тук, пауза, тук, — сейчас стучит ровно. Очень ровно. Как будто тоже решило, что спешить больше некуда.

— Молодой человек, — сказал Лев Аркадьевич. — Как вас зовут?

Человек слегка удивился. Брови чуть приподнялись.

— Это неважно.

— Для меня важно, — сказал Лев Аркадьевич. — Я хочу знать, кому я сейчас ничего не скажу.

Пауза.

— Можете звать меня Тихий, — сказал человек.

— Тихий, — повторил Лев Аркадьевич. — Хорошее имя. Подходит. — Он сложил руки на столе. Старые, в пятнах, с узловатыми пальцами, перепачканные растворителем и пигментом. — Так вот, Тихий. Я реставратор. Шестьдесят лет. Знаете, чему учит эта работа? Тому, что под каждым слоем есть ещё один. Под копотью — краска. Под краской — левкас. Под левкасом — паволока. Под паволокой — доска. А под доской — дерево, которое росло где-то в лесу под Вологдой, когда Иван Васильевич ещё не родился. — Он помолчал. — И чем глубже копаешь — тем осторожнее надо. Потому что можно содрать то, чего уже никогда не вернёшь.

Тихий слушал. Внимательно. Не перебивая.

— Вы хотите знать, куда ведёт ход, — сказал Лев Аркадьевич. — Я не знаю. Честно. Я посветил туда четыре минуты — вы правы, — и увидел ступени. Каменные. Уходящие вниз. И знак на стене — тот же, что на камне. Пёс и метла. И я заложил ход обратно. Потому что я старый человек, и я шестьдесят лет снимаю слои, и я знаю, когда надо остановиться.

— Вы не спускались?

— Нет.

— Почему?

Лев Аркадьевич посмотрел на него.

— Потому что тот, кто четыреста лет назад высек этот знак внутри стены, — сказал он, — не хотел, чтобы туда спускались. Он хотел, чтобы знали, что туда спускаться нельзя.

\* \* \*

Тихий долго молчал.

Потом достал из кармана куртки телефон. Посмотрел на экран. Что-то набрал. Убрал обратно.

— Лев Аркадьевич, — сказал он. — Я вам верю. Вы не спускались. Это видно по вашим ботинкам: на них нет известковой пыли из подклета, только краска и растворитель. — Он помолчал. — Но вы знаете, куда смотреть. Вы — единственный человек, кроме нас, кто знает, что там есть ход. И вы его заложили. Значит, вы знаете больше, чем говорите.

— Я знаю много чего, — сказал Лев Аркадьевич. — Я знаю, как отличить новгородское письмо от московского. Как снять олифу, не повредив красочный слой. Как определить век по гвоздям в доске. — Он улыбнулся. — Всё это я вам расскажу. С удовольствием. Хотите, начнём с гвоздей?

Тихий не улыбнулся.

— Виктор Альбертович очень терпелив, — сказал он. — Но не бесконечно. Он предложил вам деньги. Вы отказались. Он предложил вам славу. Вы отказались. Он предложил вам партнёрство. Вы не перезвонили. — Он надел одну перчатку. Медленно. Палец за пальцем. — Теперь он предлагает вам время.

— Время?

— Ваше время, — сказал Тихий. — Сколько вам осталось, Лев Аркадьевич? Год? Два? Ваш кардиолог в областной больнице считает, что полтора. Мы читали вашу карту. — Он надел вторую перчатку. — Мы можем дать вам десять. Лучшие клиники Швейцарии. Новое сердце, если понадобится. Десять лет, Лев Аркадьевич. Увидите правнуков.

Лев Аркадьевич засмеялся.

Тихо. Хрипло. Сердце на смех отозвалось — тук, тук, пауза — и снова пошло ровно.

— У меня нет правнуков, — сказал он. — Внук не женат. Лазит по канализациям.

— Он женится, — сказал Тихий. — Все женятся.

— Молодой человек, — сказал Лев Аркадьевич. — Передайте Виктору Альбертовичу: мне восемьдесят четыре года. Мой отец погиб под Ржевом. Моя мать пережила оккупацию в Калуге. Моя жена тридцать лет учила детей в этом городе истории. Я видел, что делают люди, когда получают в руки то, к чему не готовы. Я не знаю, что под колокольной. Но я знаю, что ваш Виктор Альбертович не должен этого получить. — Он помолчал. — Это всё. Больше мне сказать нечего.

\* \* \*

Тихий встал.

Подожёл к окну. Посмотрел во двор. Снег шёл гуще. Белые хлопья кружились в свете единственного фонаря у собора.

Потом повернулся. Прошёлся по мастерской. Медленно. Заглянул за стеллаж. Отодвинул банку с растворителем. Приподнял простыню на одном мольберте — там была доска с ангелом. Опустил. Приподнял на втором — там был пустой подрамник. Опустил.

Подошёл к третьему. У окна. «Спас Нерукотворный».

Лев Аркадьевич не шевельнулся. Не задержал дыхание. Не посмотрел туда. Шестьдесят лет реставрации учат многому, в том числе — не смотреть туда, куда смотреть нельзя.

Тихий приподнял простыню. Посмотрел на лик Спаса — тёмный, строгий, с огромными глазами. Посмотрел долго. Потом — опустил простыню.

Оборот доски он не посмотрел. Зачем? Кто смотрит на оборот иконы?

— Красивая, — сказал Тихий.

— Шестнадцатый век, — сказал Лев Аркадьевич. — Вам ведь интересен шестнадцатый.

Тихий повернулся к нему. И впервые за всё время в его бесцветных глазах что-то мелькнуло. Не злость. Что-то похожее на уважение.

— Вы хороший человек, Лев Аркадьевич, — сказал он. — Мне жаль.

Он вернулся к стулу. Не сел. Встал за спинкой. Положил руки в перчатках на гнутое дерево.

— Последний раз, — сказал он. — Куда ведёт ход?

Лев Аркадьевич посмотрел на него.

И почувствовал, как сердце — его старое, упрямое, прокуренное сердце, которое шестьдесят лет стояло над досками, которое пережило смерть жены, отъезд дочери, перестройку, дефолт и три инфаркта, — вдруг сбилось.

Тук.

Пауза.

Тук.

Пауза. Длиннее.

Боль пришла не в грудь — в левую руку. Тупая, тяжёлая, как будто на плечо положили мешок с песком. Потом в челюсть. Потом — в грудь, и стало трудно дышать, как будто воздух в мастерской вдруг стал густым, как олифа.

Лев Аркадьевич положил ладонь на стол. На край иконы святого Никиты. На неочищенную, чёрную половину лика.

— Ход, — сказал он. Голос был сиплый. — Ход ведёт туда, куда вам не надо.

Тихий смотрел на него. Не двигался. Не помогал. Не уходил. Просто смотрел — бесцветными глазами, внимательно, как смотрят на часы, когда ждут, что они остановятся.

— Лев Аркадьевич, — сказал он. — Где ваши таблетки?

— Дома, — сказал Лев Аркадьевич. И улыбнулся. — Забыл.

Это была неправда. Таблетки лежали в кармане халата. Рядом с мелом. Нитроглицерин, маленькая стеклянная трубочка. Достаточно было сунуть руку в карман.

Лев Аркадьевич не сунул.

\* \* \*

Он думал о Максиме.

О том, как шестилетний Максим сидел у него на кухне, в этом самом городе, на табуретке, болтая ногами, и выводил в тетради в клеточку глаголические буквы. Высунув язык. Буква «аз» — как человечек с поднятыми руками. Буква «живете» — как жук. Буква «слово» — как змейка. «Деда, а кто это придумал?» — «Монах. Кирилл. Тысячу лет назад». — «А зачем?» — «Чтобы люди могли записать то, что важно. И чтобы чужие не прочитали».

О том, как двадцатилетний Максим позвонил ему в первый раз из-под земли — из какого-то коллектора под Москвой — и сказал, задыхаясь от восторга: «Деда! Тут кладка восемнадцатого века! Клеймённый кирпич! Я такого никогда не видел!» И Лев Аркадьевич сказал: «Сфотографируй клеймо. И вылезай. И больше туда один не лезь». И Максим, конечно, полез.

О том, что Максим прочитает. Обязательно прочитает. Потому что Максим — единственный, кто перевернёт икону.

Боль в груди стала белой. Ослепительной. Как снег за окном в свете фонаря.  
Лев Аркадьевич закрыл глаза.

— Макс, — сказал он. Беззвучно.

\* \* \*

Тихий стоял за стулом ещё три минуты.

Потом снял перчатку с правой руки. Наклонился над столом. Приложил два пальца к шее старика — под челюстью, туда, где сонная артерия. Подержал. Убрал.

Надел перчатку.

Достал телефон. Набрал номер.

— Он умер, — сказал Тихий. — Сердце. Сам. Я его не трогал.

Пауза. Голос в трубке — мягкий, без акцента почти, — что-то сказал.

— Нет, — сказал Тихий. — Ничего не сказал. Он не спускался. Но знал. — Пауза. — Мастерскую я осмотрел. Ничего. Иконы, растворители, мел. — Пауза. — Да. Я понимаю.

Он отключился. Посмотрел на старика. Тот сидел за столом, откинувшись на спинку стула, с закрытыми глазами, с ладонью на чёрной половине лика святого Никиты. Как будто задремал за работой. Как будто сейчас проснётся, возьмёт беличью кисть номер два и продолжит.

Лицо у него было спокойное. Почти довольное.

Тихий выключил лампу на гибкой ноге. Мастерская погрузилась в темноту. Только из окна падал слабый белый свет — от снега и фонаря.

Он вышел. Закрыл дверь. Спустился по лестнице. Внизу, у служебного входа, остановился. Посмотрел на коврик. На мокрые следы от своих ботинок — он вытер ноги, но снег на подошвах растаял.

Вытер ноги ещё раз. Левую, потом правую. Медленно, тщательно.

Привычка.

И вышел в ночь.

\* \* \*

В мастерской было темно и тихо. Падал снег за окном. Остывал чай в кружке на подоконнике. Пахло растворителем, олифой и ещё чем-то — сладковатым, тёплым, похожим на ладан.

На мольберте у окна стояла икона «Спас Нерукотворный», шестнадцатый век, укрытая простынёй.

А на обороте доски, на тёмном шершавом дереве, белели мелом шесть слов. Петлистые, круглые буквы, похожие на крючки и на маленьких человечков с поднятыми руками.

Если бы кто-нибудь мог их прочитать — а в эту ночь в мире их могли прочитать, может быть, человек триста, и только один из них знал, что их надо искать, — он прочитал бы:

*Макс. Спроси звонаря, сколько весит тишина.*

## Часть первая. Ключи и тени

### Глава 1. Оборот иконы

*Москва — Александров. 7 ноября 2026 года*

*«Мы дали им искру, чтобы согреть их детей, — они сожгли города соседей».*

*Документ из Либереи. Из записей Атлантиды о первом контакте с додинастическим Египтом.*

В шесть утра Максим Гордеев стоял по колено в реке, которой не существовало уже двести лет.

Неглинка. Москва-река её проглотила, город закатал её в трубу ещё при Александре Первом, сверху положили бульвары, Театральную площадь, Манежную, асфальт, плитку, гранит, туристов, голубей и памятник Карлу Марксу, — а она всё текла. Под всем этим. В темноте. Чёрная, холодная, пахнувшая железом, илом и тем особым подземным запахом, который Максим за пятнадцать лет научился узнавать с закрытыми глазами: запахом времени, которое никто не тревожил.

Свет налобного фонаря ложился на свод. Кирпич — красный, клеймённый, кладка «в перевязку», екатерининская. На одном кирпиче, прямо над головой, виднелось клеймо: двуглавый орёл и буквы «С.Р.». Максим сфотографировал его трижды. Общий план, крупно, сбоку. Это у него было как рефлекс — как у врача мыть руки.

— Макс, — сказал в рации голос Жоры. — Ты там живой?

— Живее всех живых.

— Время, Макс. Шесть ноль три. Через двадцать минут на Пушечной пересменка у обходчиков. Вылезаем.

— Ещё пять минут.

— Ты это говоришь каждый раз.

— И каждый раз выясняется, что я прав.

Жора выругался в рацию — коротко, беззлобно, привычно. Жора был толстый, лысый, добрый программист из «Яндекса», который пятнадцать лет назад вместе с Максимом впервые спустился в коллектор под Таганкой, застрял там в трубе на сорок минут и с тех пор говорил, что это был лучший день в его жизни. Жора держал страховку. Жора всегда держал страховку. Без Жоры Максим давно лежал бы где-нибудь под Москвой, в трубе, придавленный обвалившимся сводом восемнадцатого века, и его нашли бы археологи лет через триста и написали бы статью: «Загадочное захоронение эпохи позднего капитализма».

Максим сделал ещё шаг. Вода поднялась выше колена. Холодная — сквозь гидрокостюм, сквозь термобельё, сквозь носки. Свод над головой опустился ниже. И впереди, метрах в десяти, где луч фонаря упирался в темноту, — Максим увидел то, ради чего лез сюда третью ночь.

Арку.

Не трубу, не коллектор, не технический лаз. Арку. Белокаменную. С полукруглым верхом. С замковым камнем. Заложённую кирпичом — но кирпич был другой, грубее, темнее, без клейма. Старше екатерининского свода на двести лет.

И на замковом камне, в свете фонаря, — Максим видел отчётливо, хотя на таком расстоянии в такой темноте это было почти невозможно, — был вырезан знак. Маленький. Почти стёршийся.

Голова собаки. И метла.

Максим замер.

\* \* \*

Он знал этот знак. Конечно, знал. Любой, кто хоть раз открывал учебник истории за седьмой класс, знал этот знак. Опричники Ивана Грозного. Тысяча пятьсот шестьдесят пятый год. Чёрные кафтаны, чёрные кони, собачьи головы у сёдел — грызть измену, — мётлы — выметать её из государства. Знак террора. Знак страха. Знак, от которого четыреста лет назад вздрагивали боярские дети по всей Московии.

Здесь. Под Неглинкой. На замковом камне заложенной арке.

— Жора, — сказал Максим в рацию. Голос вышел хриплым. — Жора, тут опричный знак.

— Чего?

— Пёс и метла. На арке. Белый камень. Шестнадцатый век, не позже.

Пауза. Треск в рации.

— Макс, — сказал Жора. — Ты там чем дышишь? Сероводородом? Вылезай. Немедленно.

— Я серьёзно.

— Я тоже. Шесть ноль шесть. Вылезай, или я иду за тобой, и мы оба застаеваем, и нас находят обходчики, и нам пишут административку, и моя жена...

— Твоя жена тебя убьёт, я знаю.

— Она убьёт сначала тебя. Потом меня. Потом опять тебя. Вылезай.

Максим стоял в чёрной воде и смотрел на арку. На знак. Знак смотрел на него. Пёсья голова — оскаленная, с прижатыми ушами — в слабом свете фонаря казалась живой.

Он поднял телефон. Сфотографировал. Трижды. Общий, крупно, сбоку.

На экране телефона высветилось уведомление. Семь пропущенных вызовов. Все — с одного номера. Незнакомого. Код Владимирской области.

Максим нахмурился.

Телефон завибрировал снова. Тот же номер. Восьмой раз.

Под землёй связь ловилась плохо — одна палочка, и та мигала. Максим нажал «ответить».

— Да.

— Гордеев Максим Андреевич? — Голос мужской, молодой, официальный. Связь прерывалась — слова долетали кусками. — Это лейтенант... Хрусталёв... Александров... ваш дед, Лев Аркадьевич...

Связь оборвалась.

Максим стоял по колено в Неглинке, в двухстах годах темноты, перед опричным знаком на заложенной арке, и смотрел на погасший экран.

Ваш дед, Лев Аркадьевич.

Он знал, что дальше. Ещё до того, как связь вернулась. Ещё до того, как он, спотыкаясь, разбрызгивая чёрную воду, побежал обратно к колодцу, к Жоре, к лестнице, к свету. Он знал. Так бывает. Ты знаешь, когда звонят с незнакомого номера восемь раз подряд в шесть утра.

\* \* \*

*Цюрих, Швейцария. В то же время*

Виктор Альбертович Штерн проснулся в пять, как просыпался каждый день последние тридцать лет. Без будильника. Сделал сорок отжиманий. Принял контрастный душ. Выпил стакан воды с лимоном. Надел серые брюки, белую рубашку, кашемировый джемпер цвета мокрого асфальта. Сел в кресло у окна.

За окном лежало Цюрихское озеро — чёрное, неподвижное, с огнями на том берегу. Над озером шёл снег. Первый в этом году. Ранний.

На столике у кресла стоял ноутбук. На экране — фотография. Камень. Белый, известняковый, обтёсанный. На нём — пёсья голова, метла и пять греческих букв.

ΦΥΛΑΞ.

Страж.

Штерн смотрел на фотографию уже, наверное, в сотый раз. Он знал её наизусть. Каждую выбоину. Каждую трещинку. Наклон букв — греческий, но с особенным, московским нажимом, так писали писцы при дворе Ивана Васильевича, которые учились у греческих монахов, приехавших с Софьей Палеолог. Глубину резьбы. Следы инструмента.

Четыреста шестьдесят лет. Камень пролежал в стене четыреста шестьдесят лет, лицом внутрь, ожидая. И дождался. Старика-реставратора, который отправил его фотографию в государственную базу данных, — как положено, с пометкой «требуется атрибуции». А база данных Министерства культуры, как и все государственные базы данных в мире, была дырявой, как решето, и у консорциума «Прометей» был к ней доступ. Не официальный, конечно. Консорциум «Прометей» вообще редко делал что-либо официально.

Телефон на столике завибрировал. Штерн взял его.

— Слушаю.

— Он умер, — сказал Тихий. — Сердце. Сам. Я его не трогал.

Штерн закрыл глаза.

Он не любил смерть. Это может показаться странным для человека его профессии — но он действительно не любил. Смерть была неэффективна. Мёртвые не разговаривают. Мёртвые не сотрудничают. Мёртвые не дают консультаций. И ещё — мёртвые иногда оставляют после себя то, что живые не успевают найти.

— Он что-нибудь сказал? — спросил Штерн.

— Нет. Ничего не сказал. Он не спускался. Но знал.

— Мастерская?

— Мастерскую я осмотрел. Ничего. Иконы, растворители, мел.

Штерн открыл глаза. Посмотрел на озеро. На снег.

— Мел, — повторил он.

— Мел, — подтвердил Тихий. — Школьный. Он размечал участки на досках.

Штерн молчал секунду. Две.

— Хорошо, — сказал он. — Оставайтесь в городе. Колокольню — под наблюдение. Двадцать четыре часа. Ход — не вскрывать. Пока.

— Почему не вскрывать?

— Потому что, — сказал Штерн мягко, — старик заложил его не просто так. Если там ловушка — я хочу, чтобы в неё попал кто-то другой. Не вы. Вы мне нужны.

Пауза.

— Кто другой? — спросил Тихий.

Штерн улыбнулся. Озеру, снегу, своему отражению в тёмном стекле.

— У старика есть внук, — сказал он. — Максим. Тридцать три года. Геодезист. И, если я правильно понимаю его страницу в социальной сети, — он открыл другую вкладку на ноутбуке, где на фотографии молодой человек в каске и с налобным фонарём улыбался из какой-то трубы, — большой любитель лазить туда, куда не следует.

— Вы думаете, старик ему что-то оставил?

— Я думаю, — сказал Штерн, — что старики всегда что-то оставляют внукам. Это закон природы. — Он помолчал. — Пусть внук спустится за нас. А вы — будьте рядом. Тихо.

— Понял.

Штерн положил телефон. Посмотрел на фотографию камня.

ФҮΛΑΞ.

Страж.

— Ну что ж, — сказал он камню. — Посмотрим, что ты сторожишь.

\* \* \*

Дорога от Москвы до Александрова — сто двадцать километров по Ярославке, через Пушкино, через Сергиев Посад, мимо золотых куполов Лавры, потом налево, по узкой двухполосной трассе через леса. Максим проехал её за час сорок, на старой «Ниве» с треснувшим лобовым стеклом, превышая всё, что можно было превысить. Гидрокостюм он стянул в машине у колодца на Пушечной, бросил на заднее сиденье. Остался в термобелье, джинсах и свитере. Куртку забыл. Было минус два. Печка в «Ниве» работала через раз.

Он не чувствовал холода.

Он думал о деде.

Лев Аркадьевич Гордеев. Восемьдесят четыре года. Реставратор высшей категории, заслуженный работник культуры, лауреат какой-то премии, которую дед называл «премией за то, что не умер раньше времени». Шестьдесят лет в Александровском кремле. Знал каждую доску, каждый кирпич, каждую трещину. Мог по запаху определить, какая олифа — льняная или конопляная. По звуку — пустая доска внутри или нет. По одному мазку — новгородский мастер или московский.

Человек, который научил Максима всему, что тот знал о прошлом. Который в шесть лет посадил его за кухонный стол и сказал: «Смотри, Макс. Это — глаголица. Её придумал монах Кирилл тысячу лет назад. Её сейчас почти никто не знает. Давай будем знать мы. Вдвоём. Это будет наш тайный язык». И они писали друг другу записки глаголицей. Полтора года. Пока мама работала в Португалии на консервном заводе, а Максим жил в Александрове, в маленьком деревянном доме у реки Серой, и плакал по ночам, а дед сидел рядом и рассказывал про Ивана Грозного, про опричнину, про Либерею — легендарную библиотеку, которую царь будто бы спрятал где-то под землёй, и которую ищут уже четыреста лет, и никто не нашёл.

«А мы найдём, деда?»

«Может, и найдём. Если будем смотреть внимательно. Под каждым слоем, Макс, есть ещё один».

Максим вёл машину и не видел дороги. Видел — кухню, табуретку, тетрадь в клеточку, дедовы руки, пахнущие растворителем.

Он не звонил деду две недели.

Две недели. Был занят. Работа — съёмка участка под новый ЖК в Химках. Неглинка — три ночи подряд. Жора. Жорина жена. Сериал. Пиво. Сон. Всё время собирался. Завтра, думал. Завтра позвоню. Деда всё равно ложится в девять, а я раньше одиннадцати не освобождаюсь.

Завтра.

Лобовое стекло перед глазами вдруг расплылось. Максим моргнул. Потом ещё раз. Потом съехал на обочину у какого-то указателя — «Карабаново, 5 км» — заглушил мотор и посидел минуту, положив голову на руль.

Потом вытер лицо рукавом свитера. И поехал дальше.

\* \* \*

Лейтенант Хрусталёв ждал его у ворот кремля.

Высокий, худой, в форменной куртке, в шапке, натянутой на уши. Лет двадцать пять. С красным от мороза носом и с тем выражением лица, какое бывает у молодых полицейских, которым первый раз в жизни приходится сообщать родственникам о смерти. Он увидел «Ниву», подошёл, наклонился к окну.

— Максим Андреевич? — спросил он. — Соболезную. Очень. Лев Аркадьевич... Он у нас был... Его весь город знал. Я сам к нему в детстве на экскурсии ходил. Он мне показывал, как иконы чистят. Ватной палочкой.

— Что случилось? — спросил Максим.

Хрусталёв выпрямился. Посмотрел на кремль — белые стены, купола Троицкого собора, Распятская колокольня, высокая, шатровая, с белыми каменными ярусами, устремлёнными в серое небо. Снег на крышах. Снег на стенах. Снег на брусчатке двора.

— Сердце, — сказал Хрусталёв. — Предварительно. Врач сказал — инфаркт. Обширный. Он работал в мастерской. Ночью. Один. Сторож ушёл в девять, у него внук заболел. Утром пришёл — Лев Аркадьевич за столом. Как будто уснул. — Хрусталёв помолчал. — С кистью в руке.

Максим закрыл глаза.

С кистью в руке. Конечно. Как ещё.

— Можно мне туда? — спросил он. — В мастерскую?

Хрусталёв замялся.

— Ну... Вообще-то... Тело уже увезли. В морг. В районную. Экспертиза будет, но там... там всё понятно, в общем. Ему восемьдесят четыре было, три инфаркта, он таблетки... — Он запнулся. — Таблетки, кстати, были у него в кармане. Нитроглицерин. Он не принял.

Максим открыл глаза.

— Не принял?

— Не принял, — сказал Хрусталёв. — Врач говорит — бывает. Не успел. Боль сильная, рука не слушается. Обширный — он быстро. — Он помолчал. — Можно в мастерскую. Я там уже всё осмотрел. Никаких следов. Дверь закрыта была изнутри, на ключ. Сторож своим открыл. — Он подумал. — Только странно одно.

— Что?

Хрусталёв поморщился, как будто сам себе не верил.

— Засов, — сказал он. — На служебном входе. Внизу. Старый такой, железный. Сторож говорит — Лев Аркадьевич всегда его задвигал, когда один оставался. Привычка. А утром — засов был отодвинут. — Он пожал плечами. — Может, сам отодвинул. Вышел покурить. Он, говорят, бросил, но... Мало ли.

Максим ничего не ответил.

Дед бросил курить четыре года назад. После третьего инфаркта. Совсем. Даже запах не переносил.

\* \* \*

Мастерская была такой, какой Максим её помнил всю жизнь. Узкая комната под сводами, с одним окном в метровой стене. Стеллажи с досками. Банки с растворителями, подписанные дедовым почерком: «Скипидар», «Уайт-спирит», «Не трогать!!!» (последняя банка — с каким-то секретным составом, которым дед снимал потемневшую олифу и рецепт которого не рассказывал никому, даже Максиму). Мольберты под простынями. Стол. Лампа на гибкой ноге — выключенная.

На столе — икона. Святой Никита. Наполовину очищенная. Лик — наполовину светлый, золотисто-охристый, с тонкими морщинами у глаз и строгим ртом. Наполовину — чёрный, закопчённый, неразличимый. Рядом — кисть. Беличья, номер два. Аккуратно положенная поперёк банки с растворителем. Как кладёт кисть человек, который вышел на минутку и собирается вернуться.

Максим стоял у стола.

На краю стола, у иконы, — там, где на дереве столешницы осталась вмятина от тысяч опиравшихся локтей, — лежала дедова очечница. Футляр для очков. Коричневый, кожаный, потёртый. Максим подарил его деду на восьмидесятилетие. Очков в нём не было — очки, наверное, увезли вместе с телом. Футляр был пустой.

Максим взял его. Подержал. Положил в карман.

Хрусталёв стоял в дверях. Деликатно. Не мешал.

— Максим Андреевич, — сказал он. — Мне надо... Мне в отделение надо. Бумаги. Вы тут... Вы если что — звоните. Вот мой номер. — Он протянул визитку. — И ключ. От мастерской. Директор музея сказал — вам отдать. Вы же наследник, всё такое. Тут его вещи. Инструменты. Директор сказал — разберётесь сами.

Максим взял ключ. Визитку. Кивнул.  
Хрусталёв ушёл. Шаги по лестнице. Хлопнула дверь вниз.  
Максим остался один.

\* \* \*

Он не знал, сколько простоял так. Посреди мастерской. С пустым футляром в кармане. С ключом в руке.

Потом начал ходить. Медленно. По периметру. Как ходил дед, когда думал. Вдоль стеллажей. Мимо банок. Мимо мольбертов. Трогал вещи. Не потому что искал — просто трогал. Как трогают вещи в доме, где кто-то только что был.

Он не думал, что дед что-то оставил. Зачем? Дед умер от инфаркта. Старый, больной человек, три инфаркта, восемьдесят четыре года, работал ночью — это было вопросом времени. Глупо, больно, несправедливо — но понятно.

Только засов.

И таблетки в кармане.

Максим остановился у окна. Посмотрел во двор. Снег падал крупными хлопьями. Во дворе было пусто — из-за полиции музей с утра закрыли для посетителей. Только у Распятской колокольни — высокой, белой, шатровой — стоял человек.

Обычный человек. В тёмной куртке, в тёмной шапке. Стоял и смотрел на колокольню. Как турист. Только туристов сегодня в кремль не пускали. И стоял он не так, как стоят туристы, — не задирая голову, не фотографируя. Просто стоял. Неподвижно. Руки в карманах.

Максим отвернулся от окна.

И зацепил плечом простыню на мольберте.

Простыня сползла. Медленно, как занавес. Под ней была икона. Большая, тёмная, старая. «Спас Нерукотворный». Лик Христа — строгий, с огромными глазами, на фоне белого платя. Шестнадцатый век, судя по письму. Новгородская школа, может быть. Или ранняя московская.

Максим наклонился, чтобы поднять простыню.

И замер.

Мольберт стоял боком к окну. Свет из окна — белый, снежный, утренний — падал на икону сбоку, по касательной. И Максим, наклонившись, увидел не лицевую сторону доски. Он увидел край. Торец. И часть оборота — тёмное, старое, шершавое дерево, с вертикальными шпонками, вставленными четыреста лет назад, чтобы доску не повело.

И на этом тёмном дереве — что-то белело.

\* \* \*

Максим медленно развернул мольберт.

Оборот иконы. Дерево. Липа, наверное, — дед говорил, что лучшие доски липовые. Две шпонки, дубовые, врезанные «в ласточкин хвост». Пятна от старых наклеек — инвентарных номеров. Следы жучка. Всё как всегда.

И поперёк доски, между шпонками, — мелом, быстро, чуть криво, как пишут в спешке, — строчка.

Не кириллица.

Петлистые, круглые буквы. Похожие на крючки, на жуков, на змеек, на маленьких человечков с поднятыми руками.

Максим опустил на колени перед мольбертом. Колени стукнули о каменный пол. Он не почувствовал.

Глаголица.

Он не видел этих букв двадцать лет. Не писал, не читал. Забыл, думал. Как забывают детские стихи, детские игры, детские страхи. Но глаза — глаза помнили. Глаза читали сами. Буква за буквой. Как тогда, на кухне, на табуретке, высунув язык.

Первая — «мысле́те». М.

Вторая — «аз». А.

Третья — «како». К.

Четвёртая — «слово». С.

«Макс».

Он читал дальше. Медленно. Губы шевелились — беззвучно, как у ребёнка, который только учится. Дед всегда смеялся: «Ты читаешь губами, как дьячок в сельской церкви».

«Спроси».

«Звонаря».

«Сколько».

«Весит».

«Тишина».

Максим стоял на коленях на каменном полу мастерской, перед оборотом иконы шестнадцатого века, и смотрел на шесть слов, написанных мелом рукой, которая уже никогда ничего не напишет.

*Макс. Спроси звонаря, сколько весит тишина.*

\* \* \*

Первое, что он почувствовал, было не горе. Не страх. Не удивление.

Злость.

Такая резкая, такая горячая, что на секунду стало трудно дышать. Злость на деда. Как он мог. Как он мог — умирать и оставлять загадки. Как в дурацком романе. Как в кино. Как будто это игра. Как будто им по-прежнему шесть и восемьдесят, и они сидят на кухне, и пишут друг другу записки на тайном языке, и всё это — понарошку.

А потом злость ушла. Так же быстро, как пришла.

Потому что Максим понял.

Дед не играл. Дед не стал бы играть. Не в последние минуты. Не с больным сердцем и таблетками в кармане, которые он не принял. Дед написал это — глаголицей, мелом, на обороте иконы, которую никто никогда не переворачивает, — потому что знал, что кто-то будет искать. Кто-то, кто прочитает записку, если она будет написана по-русски. Кто-то, кто осмолит мастерскую. Кто-то, кто приподнимет простыню, посмотрит на лик Спаса и опустит её.

И не перевернёт икону.

Засов. Отодвинутый засов.

Максим медленно поднялся с колен. Подошёл к окну. Посмотрел во двор.

Человек в тёмной куртке стоял у Распятской колокольни. Неподвижно. Руки в карманах. Смотрел на колокольню.

А потом — медленно, спокойно, как поворачивается турист, которому надоело смотреть на купол, — повернул голову. И посмотрел на окно мастерской.

Максим отступил от окна. Быстро. В тень.

Сердце колотилось так, что шумело в ушах.

Он не знал, видел ли его человек во дворе. Не знал, кто это. Не знал, что вообще происходит. Он знал только одно — то, что знал каждый диггер, который хоть раз встречал под землёй обходчиков, охранников, полицию или кого похуже: когда на тебя смотрят из темноты — не стой на свету.

Он вернулся к мольберту. Достал телефон. Сфотографировал оборот иконы. Трижды. Общий, крупно, сбоку.

Потом взял с подоконника тряпку — дедову, рабочую, пахнущую скипидаром, — и стёр мел с доски.

Медленно. Тщательно. Букву за буквой. Глаголические человечки с поднятыми руками исчезали один за другим. «Макс». «Спроси». «Звонаря». «Сколько». «Весит». «Тишина».

Через минуту на обороте иконы было только дерево. Тёмное, старое, шершавое. С двумя шпонками «в ласточкин хвост».

Максим поправил мольберт. Повесил простыню обратно — так, как она висела. Ровно. Аккуратно.

Сунул тряпку в карман. Рядом с пустым футляром для очков.

И вышел из мастерской. Закрыл дверь на ключ.

\* \* \*

На лестнице он остановился. Прислонился спиной к холодной стене.

Звонарь.

В Александровском кремле был звонарь. Максим помнил его с детства. Старик. Тогда, двадцать семь лет назад, он уже был старик — сухой, высокий, с белой бородой, в чёрном подряснике, хотя священником не был. Он звонил в колокола на Распятской колокольне по праздникам. Дед с ним дружил. Они пили чай в сторожке у колокольни, и дед брал с собой Максима, и звонарь давал Максиму подержать верёвку от самого маленького колокола — «зазвонного» — и смеялся, когда Максим дёргал слишком сильно и колокол отвечал испуганным «дзинь».

Как его звали?

Ефрем. Ефрем... Савельевич. Да. Ефрем Савельевич.

Он, наверное, давно умер. Если он был стариком двадцать семь лет назад...

Максим достал телефон. Набрал в поиске: «Александровский кремль звонарь».

Первая же ссылка — новость с сайта музея-заповедника, датированная прошлым годом: «Старейший звонарь России Ефрем Савельевич Тишин отметил девяностолетие. Шестьдесят пять лет Ефрем Савельевич звонит в колокола Распятской колокольни. На вопрос корреспондента, в чём секрет его долголетия, он ответил: „Слушать надо. Колокола — они всё скажут. Особенно тот, что молчит“».

Максим перечитал. Дважды.

Тишин.

*Спроси звонаря, сколько весит тишина.*

Он медленно поднял глаза. Посмотрел на маленькое окно на площадке лестницы. В окне — двор. Снег. Распятская колокольня — белая, высокая, с тремя ярусами звона, со шпилем, уходящим в серое небо.

У её подножия стояла маленькая деревянная сторожка. Из трубы шёл дым.

А человека в тёмной куртке во дворе больше не было.

\* \* \*

*Москва. Институт востоковедения РАН, улица Рождественка. В то же время*

Софья Ланская сидела в коридоре третьего этажа, на подоконнике, с картонной коробкой на коленях, и считала до ста.

Это был её способ не убить человека. Она открыла его в двенадцать лет, когда одноклассник Петя Савушкин назвал её «ботаничкой в очках» в восьмой раз за неделю, и она уже занесла над его головой учебник по алгебре, весом около килограмма, и вдруг подумала: а если досчитать до ста? И досчитала. И не убила. И Петя Савушкин, который потом стал, кажется, депутатом в каком-то городском совете, до сих пор не знает, как близко он был в тот день к тому, чтобы никогда никем не стать.

Сейчас она досчитала до шестидесяти трёх.

В коробке лежало всё, что у неё осталось после семи лет в Институте. Кружка с надписью «Я читаю клинопись. А ты?», подаренная студентами. Словарь шумерского языка, издание тысяча девятьсот семьдесят шестого года, с её пометками на полях. Фотография бабушки. Кактус. Степлер, который она, возможно, не имела права уносить, но который был её личный, она покупала его сама на «Озоне» за триста сорок рублей, и пусть попробуют доказать обратное.

И приказ об увольнении. «По собственному желанию». Желания у неё не было никакого. Было предложение, от которого нельзя отказаться: написать «по собственному» — или получить «за несоответствие», с волчьим билетом в любой научный институт страны.

Шестьдесят четыре. Шестьдесят пять.

Всё из-за таблички.

Маленькой глиняной таблички с клинописью, которую в марте привёз в Институт меценат. Богатый человек. Очень богатый. Его фамилию Софья старалась не произносить даже про себя. Табличка была, по его словам, «найдена в частной коллекции» и являлась «сенсацией мирового масштаба» — текстом, в котором шумерский писец будто бы описывал «огненные колесницы, спустившиеся с неба», и «людей с рыбьими головами», которые «научили царей Ура тайнам жизни». Меценат хотел, чтобы Институт подтвердил подлинность. Институт хотел финансирования нового корпуса. Директор хотел, чтобы все были довольны.

Софья посмотрела на табличку один раз. Двадцать минут. Под лупой.

И написала заключение на восьми страницах. Где объяснила, что клинопись — подлинная, но перерезанная. Что знаки нанесены современным стилусом на старую табличку, предвзвительно размоченную и разглаженную. Что «огненные колесницы» — это неправильно прочитанный идиоматический оборот, означающий «стремительное войско», а «люди с рыбьими головами» — это стандартное изображение апкаллу, мифических мудрецов, которое встречается на тысячах табличек и не имеет отношения ни к каким «тайнам жизни». И что, наконец, в третьей строке писец допустил ошибку, которую мог допустить только человек, учивший шумерский по учебнику Ханса Хенниге тысяча девятьсот девяносто шестого года издания, где в таблице знаков на странице сто сорок два — опечатка.

Заключение ушло директору в апреле.

В мае ей перестали давать часы.

В июле — урезали ставку.

В сентябре — перевели в архив.

А сегодня, седьмого ноября, — «по собственному».

Семьдесят один. Семьдесят два.

Телефон в кармане завибрировал. Софья не стала смотреть. Она знала, кто это. Мама. Мама звонила каждый день в одиннадцать и спрашивала: «Сонечка, ну как там твоя клинопись?» И Софья не знала, как сказать маме, что её клинопись больше никому не нужна.

Семьдесят девять. Восемьдесят.

Телефон завибрировал снова.

Софья достала его. Посмотрела на экран.

Не мама. Номер незнакомый. Сообщение. От кого-то по имени «Максим Г.». Она не знала никакого Максима Г.

Сообщение было короткое. Без приветствия. Фотография — и подпись.

На фотографии — тёмное дерево. Старое, шершавое. Шпонка. И поперёк — меловая строчка. Петлистые, круглые буквы.

Софья поднесла телефон к глазам.

Подпись под фотографией:

«Вы — единственный человек в Москве, кто в прошлом году публично читал глаголицу на конференции. Мне сказали, что вы ещё и шифры ломаете. Мне нужна помощь. Срочно. Это написал мой дед за минуту до смерти. Я прочитал. Но я не понимаю, что это значит. Пожалуйста».

Софья смотрела на фотографию.

Глаголица. Мелом. Шесть слов. Почерк — старческий, торопливый, но твёрдый. Человек, который писал это, знал глаголицу не по учебнику. Он писал на ней свободно. Как пишут на родном языке.

«Макс. Спроси звоняря, сколько весит тишина».

Софья перестала считать.

Она не помнила, на какой цифре остановилась. Где-то за восемьдесят. Это было неважно.

Пётр Савушкин мог спать спокойно. И директор Института — тоже.

Она смотрела на шесть глаголических слов, написанных мелом на обороте какой-то доски, и чувствовала то, чего не чувствовала с марта. С того дня, как впервые посмотрела в лупу на поддельную табличку.

Интерес.

Она набрала ответ. Быстро. Не думая.

«Где вы?»

Ответ пришёл через одиннадцать секунд.

«Александров. Кремль. Сторожка у колокольни. И, кажется, за мной следят».

Софья посмотрела на коробку на коленях. На кружку «Я читаю клинопись. А ты?». На кактус. На приказ об увольнении.

Слезла с подоконника. Взяла коробку под мышку.

И пошла к лестнице.

## Глава 2. Немой колокол

*Александров. 7 ноября 2026 года*

*«Мы научили их считать звёзды. Они спросили, сколько звёзд нужно, чтобы осветить ночь над чужим войском».*

*Документ из Либереи. Запись наблюдателя Атлантиды. Нижний Египет, время до первых царей.*

Сторожка звонаря стояла у самой стены, между Распятской колокольной и старым погребом, и за двадцать семь лет не изменилась ни на одну доску.

Тот же сруб — потемневший, почти чёрный, с белыми полосками мха в пазах. Те же два окошка с резными наличниками, на которых когда-то были голубые петухи, а теперь — только намёк на петухов, бледная тень краски. Та же низкая дверь, обитая войлоком и клеёнкой. Тот же жестяной козырёк над крыльцом. Даже поленница у стены — Максим мог бы поклясться — та же самая. Те же поленья, сложенные «ёлочкой». Как будто звонарь двадцать семь лет не топил печь.

Из трубы шёл дым. Значит, топил.

Максим постоял у крыльца. Снег падал ему на плечи, на непокрытую голову. Он поймал себя на том, что ему шесть лет и что сейчас дед возьмёт его за руку, постучит в дверь три раза — два быстрых, один медленный, у них был такой стук — и изнутри раздастся: «Входи, Лёва, не заперто», а потом будет чай с чабрецом, и баранки, и кот на лежанке, и рассказы про колокола, которые Максим слушал, открыв рот, и не понимал из них половины.

Деда не было.

Максим поднялся на крыльцо и постучал. Два быстрых, один медленный.

Тишина.

Потом — шаги. Медленные, шаркающие. Скрип половицы. Звук отодвигаемой щеколды.

Дверь открылась.

На пороге стоял старик.

Если двадцать семь лет назад Ефрем Савельевич был стариком, то теперь Максим не знал, каким словом это назвать. Он стал меньше. Высохший, сгорбленный, с белой бородой до середины груди, с белыми волосами, стянутыми на затылке в тонкую косицу. Чёрный подрясник, поверх — ватная безрукавка. Валенки. Руки — огромные, жилистые, узловатые, совсем не стариковские руки, руки человека, который шестьдесят пять лет тянул колокольные верёвки. Одной рукой он держался за косяк.

А глаза были прежние. Светло-серые, очень ясные. Как вода в колодце зимой.

Старик смотрел на Максима долго. Секунд десять. Потом сказал:

— Два быстрых, один медленный.

— Да.

— Так стучал только Лев.

— Я знаю. Я его внук. Максим. Вы меня, наверное, не помните, я тогда был...

— Помню, — сказал звонарь. — Ты дёргал зазвонный слишком сильно. — Он помолчал. — Значит, уже знаешь.

Это был не вопрос.

— Знаю, — сказал Максим.

Ефрем Савельевич кивнул. Медленно, будто кивок стоил ему усилия. Посмотрел мимо Максима — во двор, на колокольную, на снег. Задержал взгляд на чём-то. Максим не обернулся. Ему не нужно было оборачиваться: он знал, на чём.

— Заходи, — сказал старик. — Холодно.

\* \* \*

Внутри всё тоже было прежним.

Печь — большая, русская, беленая, с лежанкой. На лежанке — кот. Не тот, конечно, — тот давно умер, — но такой же: огромный, серый, полосатый, с разорванным ухом. Кот открыл один глаз, посмотрел на Максима и закрыл. Стол под клеёнкой. Самовар — электрический, но в форме старого, с медалями. Иконы в красном углу, лампадка. На стене — фотографии в рамках: колокола, колокола, колокола. Звонари на колокольнях. Группа людей у какой-то церкви, все в чёрном. И одна фотография, которую Максим узнал сразу: два человека на скамейке у этой самой сторожки. Молодой Ефрем Савельевич — то есть лет шестидесяти, с ещё тёмной бородой. И дед. Лев Аркадьевич. В очках, в берете, смеётся. А между ними — мальчик лет шести, в куртке с капюшоном, держит в руке баранку и смотрит в объектив серьёзно, как на допросе.

Максим остановился перед этой фотографией.

— Это ты, — сказал звонарь за спиной.

— Я помню. Мама снимала. Она приезжала в тот год. Один раз.

— Один раз, — согласился старик. Сел за стол, тяжело, опираясь на столешницу обеими руками. Кивнул на табурет напротив. — Садись. Чай будешь?

— Ефрем Савельевич...

— Чай будешь, — сказал старик. Уже не вопросом.

Он включил самовар. Достал две чашки — фаянсовые, с золотым ободком, со сколами. Сахарницу. Банку с чабрецом. Всё медленно, каждое движение отдельно, как будто руки выполняли давно заученную последовательность и голова в этом не участвовала. Максим смотрел. Он умел ждать. Пятнадцать лет под землёй учат ждать — воду, рассвет, конца пересменки у обходчиков, того, чтобы глаза привыкли к темноте.

Самовар зашумел.

— Сердце, говорят, — сказал старик, не поворачиваясь.

— Говорят.

— А ты?

Максим помолчал.

— У него в кармане были таблетки, — сказал он. — Нитроглицерин. Он носил их всегда. Четыре года, с первого приступа. Он их не принял. Засов был открыт изнутри — а дед всегда запирался на засов, с девяносто третьего года, когда у него украли из мастерской икону. И в мастерской пахло табаком. А дед бросил курить. Четыре года назад. Тоже после приступа.

Старик молчал.

— И ещё, — сказал Максим. — Он успел написать. Мелом. На обороте доски. Глаголицей. Он знал, что я прочитаю. Больше никто в мире не прочитал бы — так он думал. Он не знал, что глаголицу сейчас читает любой студент-филолог с телефоном.

— А что он написал?

Максим посмотрел на звонаря.

— «Макс. Спроси звонаря, сколько весит тишина».

Самовар шумел.

Старик стоял спиной к Максиму. Неподвижно. Рука его лежала на крышке сахарницы — и Максим увидел, как пальцы, огромные, узловатые, звонарские, медленно сжались на крышке. Так, что побелели костяшки.

Потом разжались.

Ефрем Савельевич налил чай. Поставил чашку перед Максимом. Вторую — перед собой. Сел.

— Лев любил загадки, — сказал он. — Вся жизнь. Кроссворды, шарады. Ребусы в «Науке и жизни». Он и тебя учил. Глаголице этой. Я ему говорил: зачем ребёнку? А он: «Пусть у нас

будет язык, которого никто не знает. Своя страна. Маленькая. На двоих». — Старик отпил чай. — А я загадок не люблю, Максим. Никогда не любил.

— Вы знаете ответ.

— Я знаю, что весит колокол. Любой колокол на этой колокольне. Я их сорок лет взвешиваю — руками. Знаю, сколько весит язык. Знаю, сколько весит верёвка, мокрая и сухая. А сколько весит тишина — этого никто не знает.

— Дед думал, что вы знаете.

— Твой дед, — сказал старик, — много чего думал.

Он посмотрел в окно. Максим проследил его взгляд. Отсюда, из окошка сторожки, был виден двор — и колокольня. И человек у колокольни. Тот самый. В тёмной куртке. Он больше не стоял на месте — он медленно прохаживался вдоль ограды Троицкого собора, как прогуливаются люди, которым некуда спешить. Туда и обратно. Туда и обратно.

— Давно он здесь? — спросил Максим.

— Три недели, — сказал звонарь. — Не он. Другие. Меняются. Этот — третий. Есть ещё один, в машине за воротами. Серый «Фольксваген». И ещё один снимает комнату у Клавдии Петровны на Советской, напротив кремлёвской стены. Окно на колокольню. — Старик отпил ещё чаю. — Я старый, Максим. Но я не слепой.

— Кто они?

— Не знаю.

— Ефрем Савельевич.

— Не знаю, — повторил старик. И это была правда, Максим это почувствовал. Не знал. Знал что-то другое — что-то большее, — но не это.

— Они убили деда.

— Сердце, говорят.

— Вы же в это не верите.

Звонарь поставил чашку. Посмотрел на Максима — прямо, долго, своими светлыми колодезными глазами.

— Я верю, — сказал он медленно, — что Лев Аркадьевич умер хорошо. Как человек. Не сказав того, чего говорить было нельзя. И я верю, что он хотел бы, чтобы ты сейчас допил чай, сел в свою машину, уехал в Москву и забыл про колокольню. Про мел. Про всё.

— Тогда зачем он написал?

Старик не ответил.

— Он не написал «уезжай». Он не написал «забудь». Он написал: «Спроси звонаря». Он отправил меня к вам. Значит, он думал, что вы мне скажете.

— Он ошибался.

— Дед никогда не ошибался в людях.

— Твой дед, — сказал звонарь, — ошибся в людях один раз. Три недели назад. Когда отправил фотографию камня в министерство.

Тишина. Самовар перестал шуметь.

Максим медленно поставил чашку на стол.

Он ничего не говорил звонарю про фотографию. Про министерство. Он сам узнал об этом только сегодня утром — от лейтенанта Хрусталёва, который упомянул «какой-то там камень, который дед ваш нашёл, у него в компьютере письма в министерство, мы смотрели». Мимоходом. Как о неважном.

— Откуда вы знаете про камень? — тихо спросил Максим.

Старик встал.

— Чай остыл, — сказал он. — Мне к вечерней звонить. Иди, Максим.

— Ефрем Савельевич.

— Иди.

Он открыл дверь. Холод ворвался в сторожку. Кот на лежанке недовольно мяукнул. Максим встал. Взял куртку — нет, куртки не было, он же её забыл. Постоял у порога. — Последний вопрос, — сказал он. — Можно?

Старик молчал.

— В той статье. Вам девяносто лет, корреспондент спросил про секрет долголетия. И вы сказали: «Колокола — они всё скажут. Особенно тот, что молчит». Какой колокол молчит, Ефрем Савельевич?

Звонарь посмотрел на него. И Максиму показалось — на секунду, не больше, — что в светлых глазах старика мелькнуло что-то похожее на улыбку. На ту самую улыбку, с которой он двадцать семь лет назад смотрел, как шестилетний мальчишка дёргает зазвонный колокол слишком сильно.

— Иди, — сказал старик. — Простудишься.

И закрыл дверь.

\* \* \*

Человек, которого в «Кербере» называли Тихим, сидел в сером «Фольксвагене» за воротами кремля и слушал.

В правом ухе у него был наушник. Тонкий провод шёл к устройству размером с пачку сигарет, которое лежало на пассажирском сиденье. От устройства — второй провод, к узкой серой трубке, закреплённой на подголовнике и направленной в сторону кремлёвской стены. Направленный микрофон. Израильский. Дальность — триста метров при хорошей погоде. Погода была плохая: снег глушил звук, и голоса в наушнике были ватные, с провалами.

«...ошибся в людях один раз. Три недели назад. Когда отправил фотографию камня в министерство...»

Тихий не шевелился. Он вообще почти не шевелился — это было одно из его профессиональных качеств, и, возможно, главное. Люди, которые шевелятся, привлекают внимание. Люди, которые сидят неподвижно в сером «Фольксвагене» с запотевшими стёклами, — это просто люди, которые ждут жену из магазина.

«...Какой колокол молчит, Ефрем Савельевич?..»

Пауза. Шорох. Голос старика, совсем тихий:

«...Иди. Простудишься...»

Хлопнула дверь.

Тихий снял наушник. Посмотрел в зеркало заднего вида. Через минуту из ворот кремля вышел Максим Гордеев — высокий, без куртки, в свитере, с непокрытой головой, засыпанной снегом. Постоял. Посмотрел на «Фольксваген» — прямо на него, на запотевшее стекло, долгим, тяжёлым взглядом. Тихий не отвёл глаз. Через запотевшее стекло его не было видно.

Гордеев пошёл к своей «Ниве».

Тихий взял телефон. Набрал номер. Гудок — один.

— Да, — сказал голос в Цюрихе.

— Внук был у звонаря, — сказал Тихий. — Двадцать минут.

— И?

— Старик ничего не сказал. Но он знает. Про камень знает. И про загадку что-то знает — внук спросил про колокол, который молчит. Старик выгнал его.

Пауза. Тихий слышал, как в Цюрихе, в далёком кабинете, кто-то медленно, задумчиво постукивает пальцами по столу.

— Колокол, который молчит, — повторил Штерн. — Интересно. Колокольню проверяли?

— Снаружи. Внутри мы не заходили. Ключи у звонаря и у музея. Вы сказали не привлекать внимания.

— Да. И сейчас говорю. — Пауза. — А внук?

— Сел в машину. Не уезжает. Сидит.

— Ждёт.

— Чего?

— Не «чего». Кого. — В голосе Штерна послышалось удовлетворение. Тихий знал этот тон: так говорит шахматист, когда соперник делает ход, который шахматист предсказал за три хода до этого. — Он сфотографировал надпись. Он её стёр, но он её сфотографировал — люди его поколения фотографируют всё. И сразу после этого сделал два звонка и отправил одно сообщение. Номер, на который ушло сообщение, принадлежит Софье Андреевне Ланской. Тридцать лет. Лингвист, криптограф. Сотрудник Института востоковедения. До сегодняшнего утра.

— До сегодняшнего?

— Сегодня утром её уволили. — Штерн помолчал. — Я читал её статью о табличке Каменского. Блестящая работа. Безжалостная. Она уничтожила репутацию человека, который двадцать лет был одним из самых щедрых меценатов Института, — ради одной опечатки в учебнике. Такие люди не умеют останавливаться. Это очень полезное качество, Тихий. Если оно работает на тебя.

— Мне её перехватить?

— Нет. — Голос стал мягче. — Ни в коем случае. Пусть приезжает. Пусть они вместе разгадывают загадки старика. Вы же не умеете читать глаголицу?

— Нет.

— И я не умею. А она умеет. — Пауза. — Наблюдайте, Тихий. Только наблюдайте. Если они найдут вход — пусть идут. Пусть спустятся. Пусть найдут. Пусть вынесут. Всё, что нам нужно, — это быть рядом, когда они поднимутся вверх.

— Понял.

— И ещё одно. Звонарь.

— Да?

— Не трогать. Пока.

Штерн отключился.

Тихий положил телефон на сиденье. Вставил наушник обратно. Посмотрел в зеркало.

«Нива» стояла у обочины, метрах в пятидесяти. Мотор работал — из выхлопной трубы шёл белый пар. Внутри, за мутным лобовым стеклом с длинной трещиной, сидел человек и смотрел прямо перед собой.

Ждал.

\* \* \*

Электричка до Александрова шла два часа десять минут.

Софья Ланская провела их, глядя на фотографию в телефоне.

Шесть слов. Глаголица. Мел.

Она увеличивала изображение до тех пор, пока буквы не распадались на пиксели, и уменьшала обратно. Она изучала каждый штрих. Наклон. Нажим. Места, где мел крошился, и места, где ложился ровно. Человек, который это писал, торопился — это было видно по тому, как последние два слова сползали вниз, к краю доски. Но он не ошибся ни в одной букве. И он писал не уставной, книжной глаголицей, а угловатой, хорватской, — той, которой писали в далматинских монастырях в четырнадцатом веке. Это было странно. Русский человек, если и учил глаголицу, учил круглую, болгарскую, кирилло-мефодиевскую.

Если только его не учил кто-то, кто сам учился по хорватским книгам.

Она записала это в блокнот. Блокнот был бумажный — Софья не доверяла облакам с тех пор, как полгода назад кто-то из попечительского совета Института очень вежливо попросил у неё доступ к её рабочей папке, «просто посмотреть».

«Спроси звонаря».

Звонарь, допустим, понятно. В Александровском кремле есть колокольня. На колокольне, надо полагать, есть звонарь.

«Сколько весит тишина».

Это было интереснее.

Софья достала из коробки — коробка стояла на коленях, кактус покачивался в такт вагону — свой старый ноутбук. Сеть ловилась через раз. Она набрала: «Александровская слобода колокола». Потом: «Распятская колокольня колокола история». Потом, после паузы: «наказанный колокол».

Она знала про угличский колокол. Все знали. В тысяча пятьсот девяносто первом году, когда в Угличе погиб царевич Дмитрий — сын Ивана Грозного, — колокол на соборной колокольне ударил в набат и поднял город. По приказу Бориса Годунова колоколу вырвали язык, отрубили ухо, наказали двенадцатью ударами плетей и сослали в Тобольск. Колокол-ссылный. Колокол-преступник. Он провисел в Тобольске три века и вернулся в Углич только в конце девятнадцатого.

Но это был Углич. И Годунов.

А Александровская слобода — это Иван.

Сеть появилась. Страница загрузилась. Софья читала, водя пальцем по экрану, — привычка с первого курса, от которой она так и не избавилась.

«...В 1570 году, после разгрома Новгорода, Иван IV вывез из новгородского Софийского собора колокола и установил их в Александровской слободе. Часть их, по преданию, висит на Распятской колокольне по сей день...»

Новгород. Вечевой колокол. Колокол, который созывал вольный город на вече — и который московские государи снимали в наказание, потому что колокол был голосом города, а у покорённого города не должно быть голоса.

Колокол, который молчит.

Софья откинулась на спинку сиденья. За окном мелькали ёлки, засыпанные снегом, белые поля, серые деревни. Женщина напротив вязала носок. Мальчик через проход ел чипсы, шурша пакетом.

Она поймала себя на том, что улыбается.

Впервые с марта.

\* \* \*

Он ждал её на платформе.

Она узнала его сразу, хотя никогда раньше не видела: в толпе, выходящей из электрички, — бабушки с сумками, студенты, мужики в камуфляже, — он был единственным, кто стоял неподвижно. Высокий. Тёмные волосы, засыпанные снегом. Свитер. Никакой куртки — минус четырёх. Лицо уставшее, небритое, с той серой бледностью, какая бывает у людей, которые не спали и не ели. И глаза — внимательные, быстрые, пересчитывающие всё вокруг.

Он тоже её узнал. Подошёл.

— Софья?

— Андреевна. — Она перехватила коробку поудобнее. — Вы — Максим Г.?

— Гордеев. — Он посмотрел на коробку. На кружку. На кактус. — Вы... переезжаете?

— Меня уволили. Сегодня утром. Это всё, что я вынесла с семи лет работы. — Она посмотрела на него. — А вы без куртки.

— Забыл.

— Где?

— В Москве. Я был под землёй, когда мне позвонили.

— Под землёй, — повторила Софья.

— Я диггер. Ну и инженер-геодезист, это для налоговой. — Он помолчал. — Слушайте, я понимаю, как это выглядит. Незнакомый мужик пишет вам с фотографией какой-то глаголицы,

вы бросаете всё и едете за сто двадцать километров, а он стоит на платформе без куртки и говорит, что живёт под землёй. Я бы на вашем месте уже звонил в полицию.

— Я думала об этом, — честно сказала Софья. — В электричке. Минут десять.

— И?

— И решила, что маньяки не пишут глаголицей. — Она переложила коробку на другую руку. — Это хорватская угловатая. Не болгарская. Кто его учил?

Максим моргнул.

— Что?

— Ваш дед. Тот, кто писал. Глаголица угловатая, далматинская. В России её почти никто не знает — у нас если и учат, то круглую. Его кто-то учил. По хорватским книгам. Кто?

Максим смотрел на неё. Долго. Потом что-то изменилось в его лице — какая-то складка разгладилась у рта.

— Его учитель в Ленинградском университете, — сказал он медленно. — Профессор. Хорват. Эмигрант, ещё довоенный. Дед всю жизнь о нём рассказывал. Я не знал, что это... видно.

— Видно, — сказала Софья. — Всё видно, если смотреть.

Где-то над вокзалом каркнула ворона. Электричка тронулась, загудела, поползла обратно, в сторону Москвы.

— Пойдёмте, — сказал Максим. — Машина там. Нам нужно поговорить не здесь.

— Почему не здесь?

Он не ответил. Только чуть-чуть, едва заметно повёл глазами — влево.

Софья посмотрела туда. Не поворачивая головы — только глазами. Привокзальная площадь. Ларёк с шаурмой. Такси. Автобусная остановка. На остановке — несколько человек. Женщина с ребёнком. Старик. Парень в наушниках. И мужчина в тёмной куртке, неприметный, серый, — он не смотрел на них. Он смотрел на расписание автобусов.

Слишком внимательно смотрел. Так внимательно, как не смотрит на расписание никто.

— Он ехал с вами в электричке, — тихо сказал Максим. — В соседнем вагоне. Вышел на минуту раньше вас, из другой двери.

У Софьи что-то холодное прошло по позвоночнику.

— Откуда вы знаете?

— Он вышел из шестого вагона. А потом подошёл к остановке не с той стороны, с которой подходят люди из шестого вагона. Он обошёл. Чтобы видеть ваш вагон. — Максим чуть пожал плечами. — Я пятнадцать лет прячусь от обходчиков, охраны и полиции. Учишься замечать, кто смотрит не туда, куда должен.

Софья молчала.

Потом сказала:

— Ладно.

— Что «ладно»?

— Пойдёмте к вашей машине. — Она снова перехватила коробку. — И по дороге расскажите мне, во что я ввязалась.

\* \* \*

Он рассказал. Всё — с утра. Неглинку. Звонок. Лейтенанта. Мастерскую. Таблетки. Засов. Запах табака. Мел. Звоняря.

Они сидели в «Ниве» на пустой стоянке у кремлёвской стены. Печка гудела, пахло бензином и мокрой шерстью. На лобовом стекле нарастал снег. Софья держала на коленях коробку и слушала, не перебивая. Только один раз переспросила — про камень с греческим словом.

— ФҮΛΛΕ, — сказал Максим. — Так было в письме деда в министерство. Хрусталёв показал мне распечатку. «Фюлакс». Я посмотрел в переводчике — «страж».

— Не совсем, — сказала Софья. — «Страж» — это близко. Но «фюлакс» — это тот, кто стережёт. Охраняет. Причём не обязательно от врага снаружи. Можно стеречь и тех, кто внутри. Тюремщик — тоже «фюлакс». И пастух. — Она помолчала. — А рядом — собачья голова и метла.

— Опричный знак.

— Опричный знак, — согласилась Софья. — «Выгрызать измену и выметать». Так нас учили. Пёс и метла у седла.

— Нас тоже так учили.

— А ещё у Плутарха, — сказала Софья, — и у Платона, если на то пошло, «фюлаксами» называются стражи идеального государства. Те, кто охраняет город от внешних врагов — и от него самого. Каста хранителей. — Она посмотрела на Максима. — Это я просто так. Вспомнилось.

Максим смотрел на неё.

— Вы всегда так? — спросил он.

— Как?

— Вспоминаете Платона, когда вам рассказывают про убийство?

Софья помолчала.

— Я так справляюсь, — сказала она наконец. — Когда страшно. Одни считают до ста. Другие вспоминают Платона. Я — и то и другое.

Снег шуршал по крыше «Нивы».

— Колокол, который молчит, — сказал Максим. — Звонарь не ответил. Но и не сказал «нет».

— Я знаю, какой колокол молчит.

Он повернулся к ней.

Софья рассказала. Про Новгород. Про тысяча пятьсот семидесятый год. Про колокола из Софийского собора, которые Иван вывез в слободу. Про вечевой колокол — голос города, который московские государи снимали с колоколен, потому что у покорённого города не должно быть голоса. Про уglichского колокола-ссылного, которому вырвали язык.

— Если среди новгородских колоколов, привезённых сюда, был колокол без языка, — сказала она, — колокол, который Иван велел «наказать», — то это и есть «тот, что молчит». А «сколько весит тишина» — это его вес. На старых колоколах вес обычно отливали прямо на поверхности. В пудах. Вместе с именем мастера и годом.

Максим молчал. Он смотрел на колокольню. Отсюда, со стоянки, она была видна целиком: белая, тонкая, шатровая, три яруса звона друг над другом, в арках — тёмные силуэты колоколов.

— Я был там, — сказал он. — Наверху. В детстве. Дед водил. На верхнем ярусе, в северной арке, висит маленький колокол. Тёмный, зеленоватый, весь в каких-то буквах. У него нет языка. Я спросил деда — почему. Он сказал: «Это немой. Его не трогают». Я спросил, почему не трогают. Он сказал: «Вырастешь — узнаешь».

— И?

— И я вырос, — сказал Максим. — И забыл.

Он ещё помолчал.

— Мне нужно туда подняться.

— Нам, — сказала Софья.

Он повернулся к ней.

— Вы не обязаны...

— Вы прочитаете буквы на новгородском колоколе шестнадцатого века? — спросила Софья. — Вязью? С титлами? С сокращениями?

Пауза.

— Нет, — признал Максим.

— Ну вот. — Она поставила коробку на заднее сиденье, к мокрому гидрокостюму. Кактус качнулся. — Когда?

— Ночью. Колокольня заперта. Ключи у звонаря и у музея. Музей я не попрошу. Звонарь не даст.

— Тогда как?

Максим посмотрел на неё. Впервые за весь день — с шести утра, с Неглинки — на его лице появилось что-то похожее на улыбку. Кривую, усталую, но настоящую.

— Софья Андреевна, — сказал он. — Я пятнадцать лет залезаю туда, куда меня не пускают. Колокольня шестнадцатого века с навесным замком из «Леруа» — это не то, что меня остановит.

\* \* \*

Вечерню звонили в пять.

Они слышали это из машины. Сначала — один удар, низкий, гулкий, такой, что дрогнуло стекло «Нивы». Потом — пауза, долгая, во всю ширину неба. Потом второй удар. Третий. А потом колокольня заговорила вся, сразу, на все голоса: басы гудели, подзвонные пели, маленькие зазвонные рассыпались над ними серебряной дробью, и звук шёл над кремлём, над заснеженным городом, над рекой Серой, над лесом, и Максим вдруг почувствовал, как у него сжимается горло, — потому что это звонил старик, которому девяносто лет, звонил на вечерню в день, когда умер его друг, и звонил так, как будто хотел, чтобы его услышали на небе.

Софья молчала. Смотрела на колокольню. На маленькую фигурку на верхнем ярусе — чёрную, согнутую, раскинувшую руки между верёвками, как дирижёр.

— Он звонит на все, — сказала она тихо. — Посчитайте.

Максим посмотрел.

Он не видел колоколов отсюда — только тёмные арки. Но он слышал. Басы. Средние. Зазвонные. Он не был музыкантом. Но он вырос рядом с этим звуком.

— Нет, — сказал он. — Не на все. В северной арке — тишина.

Звон оборвался. Последний удар баса долго висел в воздухе, расходясь кругами, как вода от камня. Потом и он погас.

Стало совсем тихо.

И в этой тишине Софья сказала:

— Он ведь знал, что мы смотрим. Он звонил для нас. Чтобы мы услышали, где молчит.

\* \* \*

В половине второго ночи кремль спал.

Снег перестал. Небо очистилось, высыпали звёзды — мелкие, злые, ноябрьские. Мороз окреп до минус девяти. Белые стены светились в темноте собственным светом, как светится снег, когда на него смотришь долго.

Они вошли не через ворота. Через ворота было нельзя — там камера и, наверняка, кто-то в сером «Фольксвагене». Максим провёл Софью вдоль стены, к реке, по тропинке, которую протоптали рыбаки, — к месту, где стена спускалась к Серой и где в восемнадцатом веке пробили ход для водовода. Ход давно заложили кирпичом. Но кирпич был плохой, советский, и в шестидесятые его кто-то разобрал — снизу, у самой земли, — а потом заделал обратно, но небрежно, на глину. Максим знал про этот лаз с шести лет. Они с дедом нашли его, когда искали ежа.

Они проползли под стеной. Софья — первая, Максим — следом, толкая перед собой рюкзак. Внутри, во дворе, было пусто и бело. Снег скрипел. Звёзды. Купола. Колокольня — чёрная на фоне звёздного неба, огромная, ближе, чем казалось днём.

Сторожка звонаря стояла тёмной. Окна не горели. Из трубы не шёл дым.

Максим постоял, глядя на неё. Потом отвернулся.

Дверь колокольни была заперта на висячий замок. Не из «Леруа», как он обещал, — старый, тяжёлый, советский, с ржавой дужкой. Максим достал из кармана связку тонких стальных крючков. Присел на корточки. Софья встала спиной к нему, лицом к двору, — он не просил её, она сама. Он это отметил.

Сорок секунд.

Замок щёлкнул.

\* \* \*

Внутри пахло камнем, холодом и птицами.

Лестница — узкая, каменная, винтовая — уходила вверх в темноту. Ступени были стёрты посередине: четыреста пятьдесят лет звонари поднимались по ним, и каждый оставлял на камне что-то от себя. Максим включил налобный фонарь, дал второй — запасной — Софье. Пошли.

Софья считала ступени. Вслух, шёпотом. Максим не сразу понял, что она делает, а когда понял — не стал спрашивать.

На восьмидесятой она перестала считать. Сбилась. Или просто дышать стало трудно — лестница была крутая, а воздух ледяной.

Первый ярус звона. Арки, открытые во все стороны, ветер. Большие колокола — тёмные, неподвижные, огромные, как спящие животные. Верёвки свисали с языков, уходили к деревянному помосту. Максим не стал останавливаться. Выше.

Второй ярус. Средние колокола. Звёзды в арках. Город внизу — оранжевые точки фонарей, редкие окна, белая лента реки.

Выше.

Третий ярус был самым тесным. Сюда вела не каменная лестница, а деревянная, приставная, почти вертикальная. Максим поднялся первым, подал руку Софье. Она приняла её не сразу — секунду помедлила, — а потом взялась крепко, сильными холодными пальцами, и он вытянул её наверх.

Здесь висели маленькие колокола. Зазвонные. Те самые, которые рассыпаются серебряной дробью над басами. Их верёвки сходились к одной точке, к деревянной педали и к рамке, за которой стоит звонарь. Максим вспомнил: где-то здесь он стоял шестилетним. Где-то здесь дёрнул слишком сильно.

Северная арка.

В ней висел колокол.

Маленький — не больше метра в высоту. Тёмный, почти чёрный, с зеленоватыми разводами патины. Он висел не так, как другие: не на деревянной балке, а на кованом железном крюке, вмурованном прямо в камень арки. И у него не было языка. Внутри, под куполом колокола, была пустота. На месте, где должно было висеть ушко для языка, — рваный, неровный металлический обрубок.

Язык не сняли. Его вырвали.

Софья подошла ближе. Медленно. Она смотрела на колокол так, как, наверное, смотрела на ту поддельную табличку — сосредоточенно, без дыхания, будто между ней и колоколом протянулась невидимая нить.

— Посветите сюда, — сказала она. — Нет. Сбоку. Под углом. Так, чтобы свет шёл вдоль поверхности. Да. Вот так.

Свет фонаря лёг на металл косо, почти параллельно, — и надписи проступили. Рельефные буквы, отлитые вместе с колоколом. Они шли поясом по самому верху, под плечом колокола, и ещё одним поясом — внизу, у края.

— Верхний пояс, — сказала Софья. Голос у неё был ровный, профессиональный. Только пар изо рта вырывался быстро. — Это обычное. Вязь, полуустав. «Лета 7058 слит бысть сей колокол... в Великом Новеграде... при архиепископе Феодосии...» Семь тысяч пятьдесят

восьмой от сотворения мира — это тысяча пятьсот пятидесятый год от Рождества Христова. Феодосий — новгородский архиепископ, правильно. Мастер... имя мастера стёрто. Сбито. Специально. — Она провела пальцем в перчатке по металлу. — Тут сбивали зубилом.

— А вес?

— Сейчас. — Она наклонилась ниже. — «...а весу в нём...» — Пауза. — «...тридцать три пуда».

Максим выдохнул.

— Тридцать три пуда, — повторил он. — Тишина весит тридцать три пуда.

— Подождите, — сказала Софья.

Она смотрела на нижний пояс.

— Это не то, — сказала она. — Нижний пояс — это не то. Это не надпись мастера. Это... это добавили потом. Посмотрите: буквы другие. Не отлиты — вырезаны. Гравировка. По готовому металлу. И это не вязь, и это вообще... — Она замолчала. Наклонилась ещё ниже. Почти легла на камень, чтобы видеть край колокола снизу. — Максим. Светите. Не двигайтесь.

Он не двигался.

— Это бессмыслица, — сказала Софья. — На первый взгляд. Буквы кириллические, но слова — нет. «Логки кмицелякъ кми лкунепи...» Нет таких слов. Ни в каком языке.

— Шифр?

— Шифр. — Она подняла на него глаза. В свете фонаря они блестели. — Это литорея. Тарабарская грамота. Русские писцы пользовались ей с двенадцатого века, а при Грозном — в посольских делах, в секретной переписке. Это простейший шифр. Самый простой на свете. Гласные остаются как есть. А согласные пишутся в две строки, одна под другой, и каждая буква заменяется той, что стоит под ней или над ней. Б — на Щ, В — на Ш, Г — на Ч... Его можно прочитать в уме, если знаешь ключ. Мне нужно только вспомнить порядок.

Она сняла перчатку. Достала из кармана карандаш и свой бумажный блокнот. Пальцы у неё дрожали от холода. Она писала быстро, мелко, две строчки согласных, одна над другой, потом стала переписывать надпись с колокола, буква за буквой, подменяя.

Максим светил.

Внизу, во дворе, было тихо. Ветер гудел в арках. Где-то далеко, на станции, прогудела ночная электричка. Колокола вокруг них слегка покачивались — от ветра — и едва-едва, на самой грани слуха, звенели. Тоненько. Как будто перешёптывались.

Немой колокол не звенел. Нечем.

— Есть, — сказала Софья.

Она подняла блокнот. Повернула к нему. Он прочитал при свете своего фонаря.

*СОЧТИ ТРИДЕСЯТЬ ТРИ СТУПЕНИ ВНИЗ. НА ПОСЛЕДНЮЮ НЕ СТУПАЙ. СТРАЖ ПОМНИТ.*

Ветер ударил в арку. Колокола вокруг качнулись и тихо, разноголосно зазвенели — все, кроме одного.

— Вниз, — сказал Максим. — Не вверх. Тридцать три ступени вниз.

— Под колокольной, — сказала Софья.

— Дед видел ступени. — Голос у Максима стал хриплым. — В письме в министерство. Он посветил фонарём в проём, за камнем, — и увидел ступени. Каменные. Вниз. А по всем планам, с тысяча семьсот девяносто восьмого года, под Распятской колокольной нет никакого подвала.

Они посмотрели друг на друга.

И тогда внизу, во дворе, скрипнула дверь.

Максим мгновенно выключил фонарь. Потом — фонарь Софьи, протянув руку к её лбу. Темнота упала на них, как мешок.

Они замерли.

Внизу, во дворе, — шаги по снегу. Медленные, шаркающие. Скрип. Пауза. Снова скрип. Максим осторожно, сантиметр за сантиметром, придвинулся к краю арки. Посмотрел вниз.

Во дворе, у сторожки, стоял звонарь. В валенках, в тулупе, наброшенном на подрясник, без шапки. Белая борода светилась в темноте. Он стоял, задрал голову, и смотрел вверх. Прямо на северную арку. Прямо на них.

Он не мог их видеть. Не мог. Без фонарей, на фоне чёрного неба, за колоколами.

Но он смотрел.

Долго. Минуту. Может быть, две.

Потом медленно перекрестился. Повернулся. И, шаркая по снегу валенками, ушёл обратно в сторожку. Дверь скрипнула и закрылась.

Окна сторожки так и не загорелись.

\* \* \*

Ефрем Савельевич Тишин сидел в темноте, у холодной печи, и держал в руках телефон.

Телефон был кнопочный, старый, с большими цифрами — такие продают для стариков. Звонарь держал его обеими руками, как держат свечу, и смотрел на экран, на котором светился один-единственный номер. Без имени. Номер, который он не набирал одиннадцать лет. С тех пор, как в последний раз их собирали всех вместе, на похоронах Прохора, в Вологде.

Кот спустился с лежанки, подошёл, потёрся о валенок. Старик не заметил.

Он думал о Льве.

О том, как Лев Аркадьевич три недели назад пришёл к нему в сторожку с фотографией камня в телефоне — взволнованный, помолодевший лет на двадцать — и спросил: «Ефрем, ты ведь знаешь, что это? Ты ведь знаешь, правда? Ты ведь всю жизнь знал». И как он, Ефрем, ответил: «Не знаю, Лёва. Заложил обратно. Христом Богом прошу — заложил и забудь». И как Лев посмотрел на него — долго, внимательно, — и ничего больше не спросил. И заложил. Но фотографию — уже отправил. В министерство. В базу данных. В электронную почту, через которую, как теперь понимал звонарь, весь мир смотрит в тебя, как в окно.

Шестьдесят пять лет Ефрем Савельевич звонил на этой колокольне. Шестьдесят пять лет никто ничего не нашёл. А потом мальчишка Серёжа ударил ломом по стене.

Не мальчишка виноват. И не Лев. Время пришло — вот и всё. Время всегда приходит. Так говорил его отец. И отец его отца. И те, кто был раньше.

А теперь внук Льва — тот самый мальчишка, который дёргал зазвонный слишком сильно, — стоял наверху, в северной арке, с девушкой, которая читает литорею так же легко, как газету.

Ефрем Савельевич знал, что должен сделать. Знал по Уставу — тому, который никто не записывал четырёхста пятьдесят лет, который передавали из уст в уста, от старшего к младшему. Должен позвонить. Сказать: вход найден. Сказать: идут. И тогда те, кто ещё остался, — их немного, их совсем немного теперь, — приедут. И сделают то, что положено.

Он смотрел на номер.

«Они убили деда», — сказал мальчишка сегодня днём.

И это была правда. Звонарь знал, что это правда. Он видел, как человек в тёмной куртке выходил прошлой ночью из мастерской. В двенадцать минут первого. Он видел — и ничего не сделал. Потому что Устав запрещал вмешиваться. Опекун не вмешивается. Опекун стережёт.

Лев умер один.

Старик медленно положил телефон на стол. Экраном вниз.

Встал. Подошёл к окну. Посмотрел на колокольню — чёрную, огромную на фоне звёзд. Там, в нижнем ярусе, у самой земли, блеснул и погас огонёк фонаря. Они спускались.

— Прости, Господи, — сказал Ефрем Савельевич вслух. Негромко. В пустой тёмной комнате. — Прости меня. И ты, Лёва, прости.

Потом подошёл к сундуку в углу, под иконами. Старому, обитому жестью. Открыл. Под бельём, под старыми подрясниками, под пачкой писем, перевязанных бечёвкой, лежал свёрток в чёрном бархате.

Звонарь развернул бархат.

Внутри был кинжал. Короткий, широкий, в ножнах из потемневшей кожи. На рукояти, выточенной из моржового клыка, — маленькая резная голова собаки.

И метла.

### Глава 3. Тридцать три ступени

*Александров. Ночь на 8 ноября 2026 года*

*«Железо, которое мы научили их ковать, стало мечом в первый же час».*

*Документ из Либереи. Запись из архива Чуди.*

Подклет Распятской колокольни был низким, как погреб, и холодным, как могила.

Максим и Софья спустились туда по той же винтовой лестнице, по которой поднимались, — только ниже, ниже первого яруса, ниже уровня двора, туда, где ступени становились выше и неровнее, а стены — толще. Белый камень. Кирпич. Снова белый камень. Своды смыкались над головой так низко, что Максиму пришлось пригнуться.

Здесь шла реставрация. Это было видно сразу. Строительные леса у стены, накрытые плёнкой. Вёдра с засохшим раствором. Мешки с песком. Тачка. Кабель от переноски, уходящий куда-то вверх, к щитку. На полу — отпечатки рабочих ботинок, присыпанные белой пылью.

И у северной стены — свежая кладка.

Максим подошёл. Посветил.

Небольшой участок — с полметра в высоту и столько же в ширину, у самого пола. Камни, уложенные плотно, на свежий раствор. Шов ровный, аккуратный, заглаженный мастерком. Так клал только дед. Максим знал этот шов: дед учил его класть кирпич на даче, когда Максиму было двенадцать, и ругался, если шов получался кривым. «Кладка — это почерк. По кривому шву тебя через сто лет узнают и скажут: халтурщик был».

В центре кладки, на одном из камней — белом, известняковом, старом, совсем не таком, как остальные, — было высечено.

Собачья голова. Метла. И под ними, мелко, греческими буквами: ΦΥΛΑΞ.

Дед вставил этот камень обратно. Лицом наружу.

Чтобы видели. Чтобы знали.

Максим опустился на колени. Снял рюкзак. Достал из него то, что всегда носил с собой под землю, — короткий стальной ломик, монтировку, молоток, зубило. Разложил на полу, на куске брезента. Аккуратно, по порядку. Софья стояла рядом и светила фонарём. Он видел краем глаза, как она смотрит на инструменты.

— Вы и правда это всё носите с собой, — сказала она.

— Всегда.

— В Москве.

— Особенно в Москве.

Он приставил зубило к шву. Раствор был свежий, трёхнедельный, ещё не набрал прочности. Дед, наверное, специально клал на слабый, на известковый. Чтобы можно было разобрать.

«Заложи и забудь», — сказал ему кто-то. Кто — Максим не знал. Но дед заложил. И не забыл. И сделал так, чтобы открыть было легко.

Первый удар молотка в тишине подклета прозвучал как выстрел.

Софья вздрогнула.

— Услышат, — прошептала она.

— Стены — полтора метра. — Максим ударил второй раз. — И снаружи ветер. — Третий. — Звонарь, может быть, услышит. Но звонарь, по-моему, и так всё знает.

Раствор крошился. Камень шевельнулся. Максим поддел его ломиком — и камень с опричным знаком подался, пошёл, вышел из стены. Тяжёлый, килограммов двадцать. Максим аккуратно положил его на брезент. Лицом вверх.

Из проёма потянуло холодом.

Не тем холодом, что был в подклете, — ноябрьским, морозным, сухим. Другим. Глубоким. Влажным. Подземным. Максим знал этот холод лучше, чем свою квартиру. Он пах камнем, водой, глиной — и временем. Тем особым запахом, который бывает только там, где воздух не двигался очень, очень давно.

Он вынул второй камень. Третий. Четвёртый.

Проём открылся — низкий, в полметра, чёрный, как пасть.

Максим лёг на живот. Сунул голову внутрь. Посветил.

Ступени.

Каменные, белые, широкие, со стёртыми краями. Они начинались сразу за проёмом и уходили вниз. Круто. Прямо, без поворотов. Свет фонаря скользил по ним и терялся во тьме. Своды над ступенями — тоже белый камень, тёсанный, выложенный клином. Хорошая кладка. Очень хорошая. Шестнадцатый век. Московская артель — или итальянская. Максим видел такую кладку однажды, в подземных палатах под Кремлём, куда его пустили по особому разрешению на две минуты. С тех пор он не видел её нигде.

А на первой ступени, в пыли, — следы.

Не древние. Свежие. Отпечаток ботинка. Один. Рифлёная подошва, мужская, размер сорок второй. Кто-то наступил на первую ступень — и сразу отступил назад.

Дед. Три недели назад. Он посветил фонарём, поставил ногу на первую ступень, постоял — и вернулся. Заложил. Ушёл.

Не пошёл вниз.

Почему?

Максим знал ответ. Потому что дед был старый человек, с больным сердцем, один, в темноте. Потому что он был не диггер. Потому что он испугался.

Или — потому что знал: то, что внизу, не должно подниматься вверх.

— Ну? — шёпотом спросила Софья у него за спиной.

Максим вытащил голову из проёма. Сел на пятки. Посмотрел на неё снизу вверх. Свет налобного фонаря упал ей на лицо — она зажмурилась, — он быстро отвёл голову.

— Ступени, — сказал он. — Вниз. Много.

— Сколько?

— Не знаю. Дальше света не видно.

Пауза.

— Слушайте, — сказал Максим. — Я пойду один. Вы останетесь здесь. Если через час я не вернусь — звоните лейтенанту Хрусталёву. Номер я вам дам. Он нормальный парень. Глупый, но нормальный...

— Нет, — сказала Софья.

— Софья Андреевна...

— Вы прочтаете то, что там внизу? Если там что-то написано?

— Может быть, там ничего не написано.

— А может быть, написано. — Она смотрела на него, не моргая. — Максим, меня сегодня утром уволили с работы, которой я отдала семь лет. Меня называли — я дословно — «истеричкой, которая уничтожает репутацию уважаемых людей ради своих амбиций». Мой бывший жених — тоже, кстати, сотрудник Института — подписал коллективное письмо в мою поддержку, а потом, когда стало понятно, кто победит, отозвал подпись. Мне тридцать лет, у меня нет работы, нет жениха, есть кактус, кружка и кредит за однушку в Медведкове. — Она перевела дыхание. — Мне нечего терять. А там, внизу, может быть, лежит что-то, чего четыреста пятьдесят лет никто не видел. Я иду.

Максим смотрел на неё.

— Кактус как зовут? — спросил он.

Софья моргнула.

— Что?

— У людей, которые выносят кактус с работы в коробке, у кактуса обычно есть имя.

Пауза.

— Ашшурбанипал, — сказала Софья. И покраснела. Это было видно даже в свете фонаря.

Максим кивнул. Серьёзно.

— Хорошее имя, — сказал он. — Ладно. Идём. Я первый. Вы — за мной, в двух ступенях. Не ближе. Держитесь за стену. Считайте вслух. Если я скажу «стоп» — вы останавливаетесь сразу, не задаёте вопросов, не делаете ни шага. Договорились?

— Договорились.

— И, Софья Андреевна.

— Да?

— На тридцать третью ступень не наступать.

— Я помню.

\* \* \*

Он полез в проём первым. Ногами вперёд, на спине, потом развернулся. Встал на первую ступень. Подождал. Камень держал.

Софья пролезла следом. Он подал ей руку. Она взялась за неё — и на этот раз не помедлила.

— Один, — сказала она.

Вниз.

— Два.

Ступени были высокие — сантиметров по двадцать пять, — и узкие. Неудобные. Шагать приходилось осторожно, ставя ногу боком. Стены по бокам сходились так близко, что Максим задевал их плечами. Свод — в паре сантиметров над головой.

— Семь. Восемь.

Холод становился плотнее. Пар изо рта — гуще. На стенах появились капли — влага, конденсат, — а потом белые натёки, известковые, похожие на застывший воск.

— Двенадцать.

Максим считал про себя. Одновременно с ней. Это было старое правило: под землёй считай всё — ступени, шаги, повороты, минуты. Память в темноте врёт. Числа — нет.

— Шестнадцать. Семнадцать.

На восемнадцатой ступени он остановился.

— Стоп.

Софья встала. Не спросила ничего. Максим это тоже отметил.

На стене справа, на уровне его лица, был вырезан знак. Небольшой, в ладонь. Собачья голова, метла. И цифра — кирилловская, буквенная, под титлом: «И» и «І». Восемнадцать.

— Они пронумеровали ступени, — сказала Софья тихо у него за спиной.

— Похоже на то.

— Зачем?

— Чтобы считать было проще. — Он помолчал. — Или чтобы тот, кто спускается, точно знал, где тридцать третья.

Он двинулся дальше.

— Девятнадцать. Двадцать.

Через каждые пять ступеней — знак. Двадцать три. Двадцать восемь. Каменные псы с вываленными языками смотрели на них со стен пустыми глазами.

— Тридцать.

Максим остановился. Посветил вниз.

Ступени шли дальше. Тридцать первая. Тридцать вторая. Тридцать третья. И за ней — ровная каменная площадка, а дальше — снова темнота, проём, как будто коридор уходил куда-то горизонтально.

Тридцать третья ступень ничем не отличалась от остальных. Тот же белый камень. Та же стёртость по краям. Та же пыль.

На стене справа — знак. Пёс, метла. И цифра — две буквы под титлом: «Л» и «Г». Тридцать три.

— Не наступай, — сказал Максим. Сам себе.

Он спустился на тридцать первую. На тридцать вторую. Встал. Повернулся к Софье.

— Стойте на тридцатой. Не двигайтесь.

Он достал из-за пояса ломик. Присел. Наклонился вперёд и очень осторожно, кончиком ломика, надавил на тридцать третью ступень.

Ничего.

Он надавил сильнее.

Ничего.

Максим нахмурился. Перехватил ломик двумя руками. Упёр его в середину ступени. И навалился всем весом.

Ступень ушла из-под ломика.

Не провалилась — повернулась. Бесшумно, плавно, как дверь на хорошо смазанной петле. Каменная плита толщиной в ладонь повернулась вокруг невидимой оси и встала вертикально, открыв под собой квадратную чёрную дыру. Ломик, потеряв опору, рванулся у Максима из рук и, лязгнув по краю, полетел вниз.

Максим замер.

Он слушал.

Ломик падал. Долго. Он слышал, как тот ударился о стену. Раз. Другой. Третий, уже глуше. Звук уходил вниз, вниз, становился тише, тоньше — и наконец, через три-четыре секунды, где-то очень глубоко, почти на грани слуха, раздался всплеск.

Вода.

Глубоко внизу, под тридцать третьей ступенью Распятской колокольни, была вода.

Каменная плита медленно, с тихим шорохом, повернулась обратно. Встала на место. Легла ровно — та же ступень, та же пыль. Как будто ничего не было.

Тишина.

Максим сидел на тридцать второй ступени и смотрел на тридцать третью. Сердце кололось в горле. Он пересчитал в уме: три-четыре секунды свободного падения — это сорок, может быть, пятьдесят метров. Колодец. Под колокольной. Пятьдесят метров. С водой на дне.

«На последнюю не ступай».

— Максим, — сказала Софья наверху. Голос у неё был совсем тихий и очень ровный. Неестественно ровный. — Скажите, пожалуйста, что вы живой.

— Я живой.

— Хорошо, — сказала она. — Это хорошо. Потому что я досчитала до сорока.

\* \* \*

Он перепрыгнул тридцать третью ступень. Это было несложно — она была шириной сантиметров в тридцать, и за ней сразу шла площадка. Потом протянул руку Софье. Она спустилась на тридцать вторую. Остановилась. Посмотрела на ступень под собой. На его руку.

— Не смотрите вниз, — сказал Максим.

— Там же нечего видеть.

— Именно поэтому.

Она прыгнула. Он поймал её — неловко, за оба локтя, — и они оба на секунду замерли на площадке, очень близко друг к другу, тяжело дыша. Её волосы пахли снегом и почему-то яблоками. Потом Софья отступила на шаг.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

Он посветил вперёд.

Коридор. Короткий, метра три. И в конце — дверь. Низкая, тяжёлая, дубовая, почерневшая, окованная железными полосами. Без замка. Без ручки. В центре двери — железная пластина, а на пластине, выкованная выпукло, — голова пса. Пасть оскалена. В пасти — кольцо.

Максим взялся за кольцо. Потянул.

Дверь не поддавалась.

Он потянул сильнее. Упёрся ногой в стену. Дубовая дверь застонала — протяжно, страшно, как живая, — и медленно, по сантиметру, по полсантиметра, пошла на него, сдирая с пола четыреста пятьдесят лет пыли.

За дверью была комната.

\* \* \*

Потом, много месяцев спустя, на острове, Максим пытался вспомнить, что он почувствовал в ту минуту, — и не мог. Он помнил только, что там было очень тихо. Тише, чем в любом месте, где он бывал за пятнадцать лет под землёй. Тише, чем в подземных реках, тише, чем в заброшенных бункерах, тише, чем в забытых шахтах Подмосковья. Это была тишина, которую не тревожили со времён Ивана Грозного. Тишина весом в тридцать три пуда.

Комната была маленькой. Три шага на четыре. Своды низкие, белые. Пол выложен плитой. Стены голые, только в дальней — ниша, полукруглая, глубокая, как в церкви для иконы.

В нише стоял сундук.

Небольшой. Длиной в полметра, шириной в треть метра, высотой с ладонь. Деревянный, тёмный, окованный по углам железом — и всё железо было покрыто тончайшей, кружевной резьбой. На крышке — тот же пёс, та же метла. Замка не было. Только железная накладная с петлёй, и в петле — костяной штырь.

Сундук был покрыт пылью. Толстой, серой, бархатной. Нетронутой.

Максим подошёл. Медленно. Свет его фонаря дрожал — у него дрожали руки, и он ничего не мог с этим поделать. Софья встала рядом. Он слышал её дыхание. Частое, неглубокое.

— Подождите, — сказала она. — Сфотографируйте. Всё. Как есть. До того, как тронете.

Он кивнул. Достал телефон. Снимал — нишу, сундук, крышку, накладку, штырь, пол перед нишей, стены, своды. Софья держала второй фонарь, светила так, как он просил, — сбоку, сверху, под углом. Тридцать два снимка. Привычка. Как у врача мыть руки.

Потом он убрал телефон. Взялся за костяной штырь. Штырь вышел из петли легко, будто его вставили вчера.

Максим поднял крышку.

\* \* \*

Внутри сундук был обит изнутри чем-то тёмным — кожей, промасленной, задубевшей. А на коже лежал свёрток. Плотный, прямоугольный, обмотанный той же промасленной кожей и перевязанный тонким кожаным ремешком.

Максим развязал ремешок. Пальцы не слушались. Развернул кожу — слой, второй, третий.

И увидел металл.

Листы. Тонкие, как бумага, — тоньше, — сложенные стопкой. Каждый размером с тетрадный лист. Металл был белый. Не серебристый, как алюминий, не жёлтый, как латунь, —

именно белый, с лёгким сероватым отливом, матовый, как старое серебро, но без единого пятнышка, без черноты, без патины. Как будто их положили сюда сегодня утром.

Максим взял верхний лист.

Он был тяжёлым. Неожиданно тяжёлым для своего размера — как будто держишь в руках не лист металла, а маленькую книгу. Максим повернул его к свету. Поверхность была гладкой. Ни букв. Ни знаков. Ни рисунков. Просто белый, тяжёлый, абсолютно пустой лист.

— Пустой, — сказал он хрипло.

— Нет, — сказала Софья.

Она наклонилась над листом. Совсем близко. Её дыхание оседало на металле лёгким облачком и тут же исчезало.

— Посветите сзади. Через него. Нет — уберите фонарь от лица. Направьте на лист снизу.

Максим снял налобный фонарь. Поднял лист. Подставил фонарь снизу, прямо под металл.

И лист засветился.

Не весь. Точками. Тысячами, десятками тысяч крошечных, микроскопических точек, которые вспыхнули на белой поверхности, как звёзды в ноябрьском небе над кремлём. Каждая — меньше булавочного укола. Меньше волоса. Они складывались в узоры. В линии. В ряды. Плотные, ровные ряды, уходящие от края к краю.

— Перфорация, — прошептала Софья. — Он весь в отверстиях. Насквозь.

Максим поднёс лист к самым глазам. Отверстия были такими маленькими, что он едва различал их по отдельности. Ряды точек. Тысячи. Ровные, будто их делала машина.

Машина. В шестнадцатом веке.

— Это не буквы, — сказал он. — Ряды просто. Точки.

— Пока не буквы, — сказала Софья. — Подождите.

Она взяла у него фонарь. Отвела в сторону. Медленно наклонила — так, чтобы свет шёл через лист не прямо, а под углом. Повела фонарём. Влево. Вправо. Чуть выше.

На стене ниши, за сундуком, на белом камне, — что-то мелькнуло. Тень. Пятно. Неровная россыпь светлых точек, отброшенная листом.

Софья замерла. Повела фонарём ещё на сантиметр.

Пятно на стене дрогнуло — и сложилось. На одно мгновение, на долю секунды, светлые точки на камне собрались в чёткий, резкий, невозможный рисунок.

Клинья.

Маленькие треугольные клинья, стоящие рядами — горизонтальные, вертикальные, косые. Максим никогда в жизни не видел клинописи вблизи. Но он узнал её. Её все знают. Её рисуют в школьных учебниках истории за пятый класс — на картинке с глиняной табличкой, рядом с пирамидами и сфинксом.

Софья дёрнулась. Свет ушёл. Рисунок рассыпался.

— Нет, — сказала она. — Нет, нет, нет. Не может быть.

Она снова повела фонарём. Медленно. Дрожащей рукой. Искала угол. Нашла — клинья снова вспыхнули на стене, на одно мгновение, чётко, — и снова рассыпались.

— Это шумерский, — сказала Софья. Голос у неё сорвался. — Это шумерская клинопись. Старовавилонская форма, ранняя. Я её читаю. Я её десять лет читаю. «Когда... когда люди моря...» — Она осеклась. — Максим. Это шумерский текст. Его проецирует платиновый лист. Через дырочки. В подвале под колокольной Ивана Грозного.

— Платиновый?

Она подняла на него глаза.

— Взвесьте его в руке, — сказала она. — Платина тяжелее золота. Она не окисляется. Не темнеет. Не ржавеет. Ей ничего не делается — ни от воды, ни от воздуха, ни от времени. Это единственный металл, который мог пролежать здесь четыреста пятьдесят лет и выглядеть

так, будто его положили утром. — Она перевела дыхание. — И, Максим. В Европе платину открыли в восемнадцатом веке. В тысяча семьсот сорок восьмом году. Испанцы, в Южной Америке. До этого её никто в Европе не знал. Никто. Не умели плавить — у неё температура плавления больше тысячи семисот градусов. Нечем было.

Максим смотрел на белый тяжёлый лист у себя в руке.

— А это шестнадцатый век, — сказал он.

— А это шестнадцатый век, — повторила Софья.

Они стояли в маленькой каменной комнате, под землёй, под Распятской колокольной, вдвоём, и молчали.

Максим пересчитал листы. Сорок девять. Он прикинул вес — каждый грамм по сто тридцать, может, по сто пятьдесят. Шесть с лишним килограммов. Шесть килограммов платины. По нынешнему курсу — он слышал по радио на днях — это было... Он не стал досчитывать. Цифра была неважна. Цифра была смешной рядом с тем, что было на этих листах.

На самом дне сундука, под стопкой платины, лежала ещё одна пластина. Другая. Медная, тёмная, толстая. На ней не было никаких отверстий. Только надпись, вырезанная резцом. Кириллица. Полуустав. Вязь.

Софья наклонилась. Посветила. Прочитала. Сначала про себя — Максим видел, как шевелятся её губы. Потом вслух. Медленно. Переводя с ходу, со старого языка на новый.

— «Аз, раб Божий Иоанн, страж порога, затворил сие. Кто отворит — тот примет на себя бремя моё. Да будет так до скончания века, или доколе люди не станут иными».

Тишина.

— «Страж порога», — повторил Максим.

— Иоанн, — сказала Софья. — Иван. — Она подняла на него глаза. — Это подпись. Максим, это подпись царя.

\* \* \*

Они упаковали листы обратно. Так же, как те лежали. В кожу. Слой за слоем. Медную пластину Ивана — отдельно, в непромокаемый мешок. Всё это — в рюкзак Максима, на самое дно, под брезент и инструменты.

Пустой сундук оставили в нише. Максим закрыл крышку. Вставил костяной штырь обратно в петлю.

Он не знал, зачем это сделал. Просто показалось правильным.

Шесть килограммов за спиной давили неожиданно сильно. Как будто рюкзак был набит не металлом, а чем-то куда более тяжёлым.

«Кто отворит — тот примет на себя бремя моё».

Они вышли из комнаты. Максим прикрыл дубовую дверь. Перепрыгнул тридцать третью ступень. Подал руку Софье. Она прыгнула. Он поймал её. На этот раз — увереннее. На этот раз они не замерли.

Вверх.

— Тридцать два, — сказала Софья. — Тридцать один. Тридцать.

Обратный счёт. Максим не стал её останавливать.

— Двадцать. Деятнадцать.

Наверху, впереди, темнота становилась чуть светлее — серой. Проём. Подклет.

— Пять. Четыре. Три.

Максим поднял голову.

И остановился.

В проёме — в полуметровой дыре, которую он сам час назад открыл в стене подклета, — был свет. Не его фонарь. Не Софьин. Чужой. Ровный, белый, холодный. Фонарь, лежащий на полу подклета, направленный внутрь, на ступени, прямо им в глаза.

А за светом — силуэт. Человек, присевший на корточки у проёма. Спокойно, неторопливо, как садятся у костра.

— Доброй ночи, Максим Андреевич, — сказал голос из-за света. Негромкий, вежливый, совершенно бесцветный. — Доброй ночи, Софья Андреевна. Вы не торопитесь. Я подожду. Только, пожалуйста, — поднимайтесь по одному. И рюкзак — вперёд.

\* \* \*

Максим не двигался.

Свет бил в глаза. За светом — силуэт. И ещё один, дальше, у стены подклета. И, кажется, третий — у лестницы наверх, у выхода. Трое.

Он стоял на третьей ступени снизу. Нет — сверху. Третьей сверху. Софья — на пятой, за ним, ниже. Он чувствовал её за спиной, хотя не видел.

— Кто вы? — спросил он.

— Это неважно, — сказал голос. — Важно, что у вас за спиной. И важно, чтобы никто не пострадал. Вы же этого хотите, Максим Андреевич? Чтобы никто не пострадал? Ваш дедушка не хотел, чтобы пострадали. Он был разумный человек. До определённого момента.

Максим почувствовал, как у него сжимаются кулаки.

— Это вы, — сказал он. — Прошлой ночью. В мастерской.

— Я разговаривал с Львом Аркадьевичем, да, — сказал голос. Спокойно. Без тени смущения. — Он плохо себя почувствовал. Я предлагал ему вызвать скорую. Он отказался. Это был его выбор. Я уважаю выбор людей, Максим Андреевич. Надеюсь, вы сделаете правильный.

Секунда. Две.

— Рюкзак, — сказал голос. Чуть тише. — Пожалуйста.

Максим медленно снял рюкзак с одного плеча.

И тогда над ними ударил колокол.

\* \* \*

Звук был такой, что дрогнул камень.

Он пришёл сверху — через сорок метров колокольни, через три яруса звона, через полуметровые стены подклета, через свод и ступени, — и всё равно ударил по ушам так, будто колокол висел у Максима над головой. Низкий, тяжёлый, огромный бас. Большой колокол. Самый большой на колокольне.

Удар.

Пауза — короткая, в полсекунды.

Удар.

Удар. Удар. Удар.

Часто. Без ритма. Без мелодии. Без перерывов. Так звонят не к вечерне. Так звонят, когда горит.

Набат.

Человек у проёма дёрнулся. Свет фонаря метнулся в сторону — на стену, на свод, — и в эту долю секунды, в этот один-единственный миг, когда свет ушёл из глаз, Максим увидел подклет: силуэт у проёма, обернувшийся к лестнице; второго, у стены, вскинувшего голову вверх; третьего, уже бегущего к выходу.

Набат гремел.

Максим не думал. Он рванул рюкзак обратно на плечо, развернулся, схватил Софью за руку — и потащил вниз. Обратно. В темноту.

— Куда?! — выдохнула она.

— Вниз!

— Там тупик!

— Там сквозняк!

Он понял это ещё в комнате с сундуком. Понял — и не обратил внимания, потому что смотрел на платину. Пламя зажигалки. Нет — пар изо рта. Когда они стояли в комнате, пар изо рта уходил не вверх. Он уходил в сторону. Вбок. К нише. Туда, где за сундуком в стене, наверное, была щель. Ход. Продух. Что-то, через что воздух четыреста пятьдесят лет тянуло наружу. Иначе там давно было бы нечем дышать.

Иван Грозный строил тайники. Но Иван Грозный был не дурак. А люди, которые выкладывали эти ступени, знали: в любой подземной камере должен быть второй выход. Хотя бы для воздуха.

— Двадцать! — кричала Софья у него за спиной. Она считала. Она по-прежнему считала, на бегу, вслух, задыхаясь. — Двадцать пять! Тридцать!

— Прыгай!

Они перелетели тридцать третью. Вместе. Не держась за руки — отдельно. Приземлились на площадку. Максим не удержался, ударился плечом о стену, выругался.

Сверху — шаги. Быстрые, тяжёлые. Кто-то бежал вниз по ступеням. Свет его фонаря прыгал по стенам.

— Стоять! — крикнул голос. Не тот, бесцветный. Другой. Молодой, злой.

Максим толкнул дубовую дверь. Она поддалась легче, чем в первый раз, — уже сдвинутая. Они ввалились в комнату. Максим кинулся к нише. Сундук — в сторону, на пол. За сундуком, в задней стенке ниши, у самого пола, — щель. Узкая, тёмная. Из неё тянуло холодом. Ветром. Снаружи.

Кладка вокруг щели — не такая, как везде. Грубее. Камни меньше. Положены не на раствор — насухо.

Максим упёрся ногой и ударил.

Камень шевельнулся.

Ударил ещё раз.

Шаги на лестнице.

— Двадцать восемь... двадцать девять... — считала Софья. Она теперь считала не свои шаги. Она считала его — человека, бегущего вниз. По звуку. — Тридцать... тридцать один... тридцать два...

Тишина.

Шаги оборвались.

И через мгновение раздался крик.

Короткий. Высокий. Он начался на лестнице — и ушёл вниз. Вниз, вниз, вниз, становясь тише, тоньше, дальше, — и оборвался, где-то очень глубоко, глухим, далёким всплеском.

Каменная плита тридцать третьей ступени с тихим шорохом повернулась на место.

Софья стояла посреди комнаты, прижав обе руки ко рту.

Набат гремел над ними, не переставая.

Максим смотрел на дверь. Секунду. Две. Потом отвернулся. Ударил ещё раз — изо всех сил, всем своим весом, — и камень в нише вывалился наружу, в темноту, и за ним открылся лаз. Узкий. Низкий. Холодный. Пахнущий снегом и рекой.

— Ползи, — сказал Максим. Голос у него был чужой. — Софья. Ползи.

Она поползла.

\* \* \*

Лаз шёл вниз и вбок. Семьдесят шагов на четвереньках, по мокрым камням, по глине, в темноте, — Максим считал, — с рюкзаком, который цеплялся за свод. Потом стало шире. Потом пахнуло морозом. Потом под руками вместо камня оказался снег.

Они вывалились на берег Серой. Под самой кремлёвской стеной. В сугроб. Под звёзды.

Над ними, над стеной, над спящим городом, гремел набат. Колокольная гудела вся, от подклета до креста, — и по всему Александрову один за другим вспыхивали окна. Желтые. Белые.

Голубые от телевизоров. Лаяли собаки. Где-то хлопнула дверь. Где-то закричали: «Пожар! Где горит?» Взыла сирена — далеко, в стороне вокзала, — потом вторая, ближе.

Максим лежал на спине в снегу. Над ним было звёздное небо. Рядом лежала Софья. Он слышал, как она дышит — часто, с всхлипом.

— Это он, — сказала она. — Звонарь. Это он звонит.

— Да.

— Ему девяносто лет.

— Да.

— Как он...

— Не знаю.

Она повернула голову. Посмотрела на него. Снег у неё был на ресницах, на щеке, в волосах.

— Тот человек, — сказала она. — На ступенях.

Максим молчал.

— Он упал. Из-за нас.

— Он шёл нас убивать, Софья.

— Я знаю. — Она закрыла глаза. — Я знаю. Но он упал. И там пятьдесят метров. И вода.

Максим ничего не сказал. Сказать было нечего.

Набат гремел.

Он сел. Рюкзак был у него на спине — тяжёлый, мокрый, целый. Он ощупал его. Платина. Шесть килограммов. Медная пластина. «Кто отворит — тот примет на себя бремя моё».

Он встал. Протянул руку Софье.

— Вставай. «Нива» у стоянки, там их машина. Туда нельзя. Электричка на Москву — в четыре пятьдесят две. Если пойдём вдоль реки, мимо старого моста, будем на вокзале через сорок минут. В толпе. Набат — это хорошо. Набат — это толпа. Полиция. Пожарные. Зеваки. Они не станут стрелять при пожарных.

Софья смотрела на его руку.

— Коробка, — сказала она вдруг. — Моя коробка. В вашей машине. Ашшурбанипал.

Максим смотрел на неё.

И тут она засмеялась. Тихо, сдавленно, лёжа в снегу под кремлёвской стеной, с мокрым лицом, — засмеялась, и смех был наполовину плачем, и она не могла остановиться.

Максим присел рядом. Не трогал её. Ждал.

Через минуту она затихла. Вытерла лицо рукавом. Взялась за его руку. Встала.

— Ладно, — сказала она. — Вокзал. Сорок минут. Я посчитаю.

\* \* \*

Человек, которого называли Тихим, стоял в подклете Распятской колокольни перед проёмом в стене и смотрел вниз, на ступени.

Его фонарь лежал на полу и светил в проём. Луч упирался в тридцать третью ступень. Обычная ступень. Белый камень. Пыль. Никаких следов.

Над ним гремел набат. Камень подклета гудел, как натянутая кожа барабана.

Второй — Гусев, бывший десантник из Пскова, — стоял у выхода на лестницу и говорил что-то в рацию, быстро, сбивчиво. Третий, Ковальчук, лежал на дне колодца под тридцать третьей ступенью. Тихий не стал светить вниз. Не было смысла. Он слышал, как тот упал. Он умел считать секунды не хуже, чем этот диггер.

Через две минуты здесь будет полиция. Через пять — весь город. Старик наверху бил в большой колокол так, как будто ему было не девяносто, а двадцать.

Тихий мог подняться наверх. Найти старика. Заставить его замолчать. Это заняло бы сорок секунд.

Но Штерн сказал: «Не трогать. Пока».

Тихий достал телефон. Набрал номер.

Гудок. Один.

— Да, — сказал голос в Цюрихе. Совсем не сонный. Штерн, кажется, вообще никогда не спал.

— Они нашли, — сказал Тихий. — И вынесли. Через второй выход, к реке. Старик ударил в набат. Ковальчук погиб. Ловушка. Шестнадцатый век.

Пауза.

— Жаль Ковальчука, — сказал Штерн. Голос был ровный. — Позаботьтесь о семье. Как обычно. — Ещё пауза. — Вы видели, что они вынесли?

— Нет. Рюкзак. Тяжёлый. Он нёс его, как будто там кирпичи.

— Хорошо.

— Хорошо?

— Тихий. — В голосе Штерна снова появилось то самое — шахматное. Удовлетворение человека, который видит доску на три хода вперёд. — Вы хотели отобрать у них рюкзак на лестнице. В темноте. Под землёй. И что бы мы получили? Рюкзак с чем-то, чего мы не умеем читать. А теперь у них в руках то, что лежало под колокольной четырёхста лет. Они напуганы. Они бегут. И знаете, куда бегут напуганные люди, у которых в руках то, чего они не понимают?

Тихий молчал.

— Туда, где это можно понять, — сказал Штерн. — Они будут читать. Ночами. Она — блестящий лингвист. Он — упрямый мальчишка, весь в деда. Они прочитают за нас то, на что у наших специалистов ушли бы годы. А мы будем рядом. Каждую минуту. — Пауза. — Отпустите их, Тихий. Пусть едут в Москву. Только не теряйте.

— Понял.

— И, Тихий.

— Да.

— Звонаря по-прежнему не трогать. — Голос стал задумчивым. — Человек, который в девяносто лет бьёт в набат, чтобы спасти внука своего друга, — это не просто звонарь. Это кто-то другой. Я хочу знать — кто.

Штерн отключился.

Тихий опустил телефон. Посмотрел на тридцать третью ступень ещё раз. Потом поднял свой фонарь с пола, выключил его, повернулся и пошёл к лестнице. Неторопливо. Аккуратно обходя мешки с раствором. Не оставляя следов.

Наверху гремел набат.

А на верхнем ярусе Распятской колокольни, между верёвками больших колоколов, раскинув руки, как дирижёр, стоял старик в тулупе, наброшенном на подрясник, и бил, и бил, и бил в колокол, и по лицу его текли слёзы, и он этого не замечал.

В северной арке, в двух шагах от него, неподвижно висел немой колокол.

Ему было нечем звенеть. Но он слушал.

## Глава 4. Свет сквозь металл

*Москва. 8 ноября 2026 года*

*«Их любовь к Богу — это лишь просьба о более мощном оружии».*

*Документ из Либереи. Комментарий шумерского наблюдателя.*

Электричка в четыре пятьдесят две была почти пустой.

В первом вагоне — двое рабочих в оранжевых жилетах, спящих сидя, привалившись друг к другу плечами. Женщина с большой клетчатой сумкой. И они — на последней скамейке, у тамбура, спиной к стене, чтобы видеть всю длину вагона.

Рюкзак стоял у Максима между колен. Он держал на нём обе руки.

Софья заснула на Сергиевом Посаде. Просто закрыла глаза на полуслове — она что-то говорила про шумерские глагольные префиксы, про то, что «когда люди моря» может быть и «после того как люди моря», в зависимости от того, как читать знак, — и замолчала. Голова её медленно склонилась набок. На его плечо.

Максим не шевелился. До самого Мытищ.

За окном было черно, потом серо, потом пошли огни — платформы, фонари, первые освещённые окна в многоэтажках. Москва просыпалась. Ему казалось, что прошла неделя с того момента, как он стоял по колено в Неглинке. Прошли сутки. Ровно сутки.

Сутки назад у него был дед.

Он смотрел в окно и думал о человеке, который упал в колодезь. О крике. О всплеске. Думал — и не чувствовал того, что должен был чувствовать. Ни жалости, ни ужаса. Только холодную, тяжёлую пустоту, как будто рюкзак с платиной лежал не между коленями, а где-то внутри, под рёбрами.

«Я разговаривал с Львом Аркадьевичем, да. Он плохо себя почувствовал. Я предлагал ему вызвать скорую».

Голос. Бесцветный, вежливый. Максим его запомнил. Он запомнил его так, как запоминают номер машины, сбившей человека.

В Мытищах в вагон вошли люди. Много. Студенты, рабочие, женщины в пуховиках. Вагон наполнился шорохом, кашлем, запахом мокрой одежды. Максим смотрел на каждого, кто входил. Никто не смотрел на них. Никто не садился слишком близко. Никто не стоял слишком неподвижно.

Это ничего не значило.

Софья шевельнулась у него на плече. Открыла глаза. Секунду смотрела непонимающе — на окно, на вагон, на его свитер у самого своего лица. Потом резко выпрямилась.

— Простите.

— Ничего.

— Я долго?

— С Сергиева Посада.

— Это же... — Она посмотрела в окно. — Это же час.

— Пятьдесят две минуты.

Она помолчала. Потёрла лицо обеими руками.

— Вы считали, — сказала она.

— Я всегда считаю.

Она посмотрела на него. Как-то странно — внимательно и чуть насмешливо, так, будто видела в первый раз.

— Хорошо, — сказала она. — Тогда мы похожи. — И отвернулась к окну.

\* \* \*

Жора жил на Преображенке, в пятиэтажке пятьдесят девятого года, на последнем этаже, в двухкомнатной квартире, которая больше походила на серверную, чем на жильё.

Он открыл дверь после первого звонка. Будто стоял за ней. В трусах, в футболке с надписью «Я не сплю, я компилирую», с кружкой кофе в одной руке и телефоном в другой. Огромный, рыжий, бородатый, похожий на викинга, которого по ошибке посадили за компьютер двадцать лет назад и забыли выпустить.

— Ты, — сказал он. — Ты, придурок. Ты где был? Я тебе звонил сорок раз. Я в Александров звонил, в полицию. Мне сказали, ты уехал вчера в обед. А потом в новостях — набат. В Александровском кремле. В три часа ночи. Дед-звонарь, девяносто лет, говорит, ему пожар приснился. — Он замолчал. Посмотрел на Софью. На её мокрые джинсы, на глину на куртке, на снег, тающий в волосах. Посмотрел на Максима — без куртки, в грязном свитере, с рюкзаком. — Это ты, — сказал он медленно. — Набат — это ты.

— Пусти, Жор.

Жора отступил.

В квартире пахло кофе, пылью и нагретыми микросхемами. Вдоль стен — стеллажи: системные блоки, мониторы, коробки с проводами, паяльная станция, 3D-принтер, что-то мигающее зелёными огоньками. На подоконнике — телескоп, большой, белый, на толстой треноге. В углу — гора снаряжения: каски, верёвки, гидрокостюмы, налобные фонари, ящики, тубусы. Половина этой горы принадлежала Максиму. В его однушке на Бауманской не было места даже для велосипеда, и Жора много лет назад сказал: «Кидай у меня. Всё равно я к этому бараклу не подхожу».

— Это Софья, — сказал Максим. — Софья, это Жора. Георгий. Он программист. И мой друг. И единственный человек, который знает, где я бываю под землёй.

— Очень приятно, — сказала Софья.

— Взаимно, — сказал Жора. Смотрел он при этом на Максима. — Дед?

— Дед умер, Жор.

Жора помолчал. Потом медленно поставил кружку на стеллаж, прямо на системный блок.

— Мне жаль, — сказал он. — Мне очень жаль, Макс.

— Мне тоже.

— Это не сердце?

— Нет.

Жора кивнул. Он не стал больше ничего спрашивать. Это было одно из его достоинств. Жора знал, когда не надо спрашивать.

— Вы голодные, — сказал он. — Оба. Я вижу. Сейчас яичницу сделаю. Потом расскажешь. Потом.

Он ушёл на кухню. Через минуту оттуда донеслось шипение масла на сковородке.

Максим опустился на пол у стеллажа. Прямо на пол. Снял рюкзак. Положил перед собой. Только сейчас он почувствовал, как устал. Ноги гудели. Плечо, которым он ударился о стену на площадке, ныло. Глаза закрывались сами.

Софья села рядом. Тоже на пол.

— Ну? — сказала она тихо. — Открываем?

\* \* \*

Они разложили листы на большом столе в комнате Жоры, отодвинув в сторону три клавиатуры и коробку из-под пиццы.

Сорок девять белых тяжёлых листов. При дневном свете — сером, ноябрьском, падающем из окна — они выглядели ещё более странно, чем в подземелье. Абсолютно гладкие. Абсолютно чистые. Матовые. В них не отражалось окно. В них ничего не отражалось. Как будто металл поглощал свет и не отдавал обратно.

Жора стоял у стола с тарелкой в руке и смотрел.

— Это что? — спросил он.

— Платина, — сказала Софья.

— Это сколько её?

— Шесть килограммов, — сказал Максим.

Жора поставил тарелку.

— Макс, — сказал он очень спокойно, — я не хочу знать, где ты это взял. Нет, вру. Хочу. Но не сейчас. Сейчас я хочу знать одно: за тобой кто-то идёт?

— Да.

— Сюда?

— Не знаю. Может быть.

Жора кивнул. Повернулся. Подошёл к одному из мониторов. Пощёлкал мышкой. На экране появилось четыре картинки — серые, зернистые. Лестничная клетка. Подъезд снаружи. Двор. Улица.

— Камеры, — сказал он. — Свои. Поставил два года назад, когда у соседа сверху угнали велик. Никто не знает. — Он развернул монитор к столу. — Смотрите сюда иногда. Если что — увидим.

Софья посмотрела на него с уважением.

— Вы параноик, — сказала она.

— Я программист, — сказал Жора. — Это одно и то же.

\* \* \*

Первый час у них ничего не получилось.

Максим поднимал лист к окну — свет проходил через отверстия, но рассеянный, мутный. Софья светила фонарём сзади — на стене появлялось расплывчатое пятно, в котором угадывались какие-то линии. Иногда, на долю секунды, когда угол был правильным, пятно собиралось в несколько чётких клиньев — и тут же распадалось.

— Это как голограмма, — сказал Жора, наблюдавший за ними с кружкой в руках. — Ну, не совсем. Но принцип похож. Изображение есть, только его надо правильно собрать.

— Как? — спросила Софья.

— Свет нужен правильный. — Жора почесал бороду. — Ваш фонарик — это светодиод. Он светит во все стороны, лучи идут под разными углами, перемешиваются, всё размывается. Нужен параллельный пучок. Чтобы все лучи шли одинаково. Как от Солнца. Или от лазера.

Максим поднял голову.

— Тахеометр, — сказал он.

— Что?

— У меня в углу лежит тахеометр. Геодезический. Лейка. Со старой работы, мне его списали. У него лазерный дальномер. Красный. Видимый.

— У лазера тонкий луч, — сказал Жора. — Он точку даст. Тебе нужно пятно. Широкое. Параллельное.

— А телескоп?

Жора посмотрел на свой телескоп. Потом на Максима. Потом медленно расплылся в улыбке.

— Ты гений, — сказал он. — Ты гений, Макс. Если пустить лазер в окуляр, а с той стороны выйдет — зеркало-то двести миллиметров — выйдет широкий параллельный пучок. Коллиматор. Мы так юстировку делаем.

Следующие сорок минут Максим и Жора собирали конструкцию, которую Софья мысленно назвала «Франкенштейн». Тахеометр на треноге. Телескоп, развёрнутый задом наперёд, на второй треноге. Между ними — изолента, картонная трубка из-под рулона бумаги, два штатива для фотоаппарата, струбцина, лабораторная лапка от паяльной станции. Жора ругался

шёпотом. Максим молча подкручивал винты. Софья сидела на полу с блокнотом и смотрела на листы.

Она искала то, что видела ещё в подземелье, но не успела понять.

В углу каждого листа — в верхнем левом, если считать «верхом» сторону, где ряды точек были гуще, — был маленький значок. Не перфорация. Гравировка. Тончайшая, едва различимая без лупы. Собачья голова. Очень маленькая, с ноготь мизинца. И рядом с ней — ряд точек. Тоже гравированных, не сквозных. На первом листе их было три. На втором — семь. На третьем — пять.

— Максим, — сказала она. — Пёс.

Он поднял голову от тахеометра.

— Пёс на каждом листе смотрит в разную сторону, — сказала Софья. — Здесь — вправо и вверх. Здесь — прямо вверх. Здесь — влево. И точки. Разное число. — Она подняла на него глаза. — Это угол. Пёс показывает направление, откуда светить. А точки — на сколько отклонить. Иван — или тот, кто это делал для Ивана, — оставил инструкцию. На каждом листе. Для тех, кто будет читать.

— Не Иван, — медленно сказал Максим. — Пёс — это опричный знак. Его выгравировали потом. Поверх. Листы старше. — Он смотрел на неё. — Иван получил эти листы и не мог прочитать. А потом прочитал. И оставил своим людям — опричникам — способ, как читать. Чтобы знание не умерло с ним.

— Фюлаксы, — сказала Софья. — Стражи.

Они смотрели друг на друга через стол, заваленный платиной и проводами.

— Готово, — сказал Жора.

\* \* \*

Он задёрнул шторы. Выключил мониторы. В комнате стало темно — только зелёные огоньки на системных блоках и полоска серого дня между шторами.

Максим нажал кнопку на тахеометре.

Из широкого конца телескопа вышел свет. Красный, ровный, плотный. Он лёг на противоположную стену — на белые обои в мелкий цветочек — ровным красным кругом в полметра шириной.

Софья взяла первый лист. Тот, на котором пёс смотрел вправо-вверх и было три точки.

— Какой это угол? — спросил Жора.

— Не знаю. Попробуем. — Она подняла лист. Поставила его в пучок света — перпендикулярно. Красный круг на стене погас, превратился в мутное розовое облако, в котором плавали тени. Она начала поворачивать лист. Медленно. По миллиметру. Вправо. Вверх.

Облако на стене задрожало.

Ещё миллиметр.

— Стой, — шепнул Максим.

Софья замерла.

На стене, на обоях в цветочек, в красном свете, горели знаки.

Чёткие. Резкие. Каждый — как будто выжжен на стене лазером. Они стояли ровными колонками, сверху вниз, четыре колонки рядом друг с другом, и в комнате вдруг стало так тихо, что Максим слышал, как гудят вентиляторы в системных блоках.

Первая колонка — клинья. Шумерская клинопись. Плотная, мелкая.

Вторая — что-то совсем другое. Знаки, похожие на палочки с крючками, на маленькие перевёрнутые буквы «Т», на кружки с точкой. Над ними — горизонтальная черта, к которой знаки подвешены, как бельё к верёвке.

Третья — греческие буквы. Максим узнал их. Маленькие, округлые, с завитками и закольцовками над строкой. Не те греческие буквы, что на формулах в учебнике физики, — другие, мягкие, как будто написанные пером.

Четвёртая колонка...

Четвёртую колонку Максим не мог описать. Никогда потом не мог. Ни Жоре, ни следователю, ни тебе, Лёва, в этой тетради. Это были знаки — но не буквы. Геометрические фигуры, вписанные друг в друга. Круги в треугольниках, треугольники в квадратах, спирали, пересечённые прямыми. Каждая фигура — сложная, точная, симметричная, как снежинка. Как кристалл. На неё было больно смотреть — не глазам, а чему-то за глазами. Как будто мозг пытался прочесть то, для чего не был создан, и не мог, и отступал.

Софья держала лист. Руки у неё не дрожали. Максим видел это. Руки — нет. Только губы чуть шевелились.

— Розеттский камень, — сказала она наконец. Очень тихо. — Это Розеттский камень.

— Что? — сказал Жора.

— Один текст. На разных языках. Чтобы его можно было прочесть в любое время. Кто бы ни нашёл. — Она сглотнула. — Первая колонка — шумерский. Вторая — санскрит. Письмо брахми, только очень раннее, архаичное. Такого брахми не бывает — брахми появляется в третьем веке до нашей эры, при царе Ашоке, а это... это старше. Это должно быть старше, но такого не может быть. Третья — греческий. Византийский минускул. Девятый, десятый век. Это добавили позже. Кто-то в Византии сам выучил эти два языка, прочитал — и добавил свой перевод. — Она замолчала. — А четвёртая...

— А четвёртая? — спросил Максим.

Софья посмотрела на геометрические фигуры на стене.

— А четвёртая — это оригинал, — сказала она. — Остальное — переводы.

\* \* \*

Она читала два часа.

Максим держал лист — Софья научила его, под каким углом, и он стоял неподвижно, как когда-то учился стоять под землёй, часами, пока глаза привыкают к темноте. Жора сидел на полу у стены и записывал за Софьей в ноутбук. Она диктовала — медленно, сверяя колонки, переходя с шумерского на греческий и обратно, ругаясь шёпотом, когда знак не читался, иногда замолкая на целую минуту.

Греческий был проще. Греческий она читала почти свободно. Шумерский шёл медленнее, но шумерский был точнее — греческий переводчик кое-где сокращал, кое-где пересказывал своими словами, а шумерский шёл знак в знак, как будто его писал тот, кто знал оригинал.

Первая строка греческой колонки — крупнее остальных. Заголовок.

— «Κύκλος Προμηθέως», — прочитала Софья. И замолчала.

— Что это? — спросил Жора.

— «Круг Прометей». Или «цикл». «Прометеев цикл». — Она смотрела на стену. — Прометей — титан, который украл у богов огонь и отдал его людям. За это Зевс приковал его к скале на Кавказе, и орёл каждый день клевал ему печень. — Она помолчала. — Византиец перевёл заголовок так. Своими словами. Как понял. В шумерской колонке не Прометей. Там... — Она прищурилась. — Там «огонь, отданный в руки». Или «огонь, переданный вниз». «Тот, кто дал огонь, — смотрит, как горит».

Она диктовала дальше.

Это был не текст. Это было оглавление. Перечень. Сорок восемь записей — по числу оставшихся листов. Каждая — две-три строки. Максим не понимал половины слов. Софья переводила как могла, сразу, начерно.

*«Зелёная земля. Где сейчас песок. Дар: власть над небом. Итог: — »*

После «итога» — знак, который Софья не смогла прочесть. В шумерском он был похож на звезду, перечёркнутую чертой. В греческом на его месте было одно слово.

— «Ἐρημία», — сказала Софья. — Пустыня.

*«Город на реке, где сейчас болото. Дар: знание о семени — о том, как из одного сделать другое. Итог: — »*

Тот же знак. Греческое слово — другое.

— «Δουλεία». Рабство.

*«Река Синдху. Дар: колесницы, что ходят по небу. Стрелы Индры. Итог: — »*

Тот же знак. Софья помолчала, прежде чем прочитать греческое слово.

— «Πῦρ». Огонь.

*«Решение Трёх. Уход. Затвор».*

— Затвор, — повторил Максим.

— Или «заклучение». Или «карантин». — Софья посмотрела на него. — Греческое слово — «καρτίνα». Нет. Это позднее, итальянское, от «сорока дней». Здесь — «φυλακή». Это... Это то же слово, что на камне. Однокоренное. «Фюлаке» — стража. Охрана. И — тюрьма.

Тишина.

Жора перестал печатать.

— Дальше, — сказал Максим.

Под оглавлением, в самом конце листа, — три строчки отдельно. Шумерская. Брахми. Греческая. И геометрическая, конечно, — три фигуры, сложных, как кристаллы.

— Это имена, — сказала Софья. — Имена тех, кто... дал. В шумерском — «люди моря», «люди глубины», «люди за светом». В греческом... — Она остановилась. Посмотрела на Максима. Её лицо в красном свете было бледным, почти белым. — В греческом первое слово я знаю. Его все знают. Его знал Платон.

— Какое? — спросил Жора.

— «Ἀτλαντίς».

\* \* \*

Атлантида.

Максим опустил лист. Красные знаки на стене дрогнули и рассыпались в мутное облако. Он не заметил. Руки у него вдруг стали очень тяжёлыми.

— Атлантида, — сказал Жора. Медленно. Как будто пробовал слово на вкус. — Атлантида. Серьёзно? Атлантида? Макс. Мы два часа читаем шумерские буквы на платиновых листах Ивана Грозного, которые ты вытащил из подвала под колокольней, — и там Атлантида?

— Это не я написал, Жор.

— Я понимаю, что не ты. Но это же... Это как... Это же РЕН-ТВ какое-то. Это же «Самые шокирующие гипотезы».

— Жора, — сказала Софья. Тихо. Она сидела на полу, обхватив колени, и смотрела на стену, где только что были знаки. — Я двенадцать лет занимаюсь шумерским. Я видела подделки. Много. Я знаю, как они выглядят. Я знаю, как выглядят современные люди, которые пытаются писать на шумерском, — они делают ошибки, всегда, одни и те же, потому что учились по одним и тем же учебникам. Я эту ошибку нашла в табличке Каменского. Одну. Опечатку из учебника девяносто шестого года. — Она подняла глаза. — Здесь нет ни одной ошибки. Ни одной. Это шумерский язык, на котором так писали в конце третьего тысячелетия до нашей эры. Не по учебнику. По-настоящему. И тот, кто это перфорировал, знал его лучше меня. Лучше всех, кто сейчас жив.

Тишина.

— А вторые два имени? — спросил Максим.

— В греческом их нет. Византиец не знал, как их перевести. Он оставил шумерские слова, записанные греческими буквами. — Софья прищурилась, вспоминая. — «Люди глубины» — это... в шумерском «кур» — гора, подземный мир. Люди в горе. Люди под горой. А

сбоку, на полях — я не стала диктовать, думала, царапина, — кириллицей. Одно слово. Мелко-мелко. Гравировкой. Как пёс.

— Какое?

Софья посмотрела на Максима.

— «Чюдь».

Максим помолчал.

— Чудь белоглазая, — сказал он. — Дед рассказывал. Сказки. Народ, который ушёл под землю, когда пришли люди с крестом. На Урале. На Севере. Закрылись в пещерах и обрушили своды на себя.

— Это всё сказки, — сказала Софья.

— А третье?

— «Люди за светом». — Софья смотрела в одну точку. — Рядом гравировка. Не кириллица. Деванагари. Тоже кто-то потом добавил. Через сто лет, через двести. Каждый, кто читал эти листы, оставлял на полях то, что понял.

— И что там?

— «Шамбала». Шамбала.

\* \* \*

Они сидели в темноте. Тахеометр был выключен. Лист лежал на столе — белый, тяжёлый, немой.

Жора первым нарушил тишину.

— Ладно, — сказал он. — Ладно. Допустим. Атлантида, чудь, Шамбала. Пустыня, рабство, огонь. Цикл Прометея. И кто-то с пистолетом пришёл за этим к твоему деду. И убил его. Из-за сказок.

— Не из-за сказок, — сказал Максим.

— А из-за чего?

Максим смотрел на лист.

— «Дар: власть над небом», — сказал он. — «Дар: колесницы, что ходят по небу». Это не сказки, Жор. Это перечень. Как инвентарная опись. Что дали — и что получилось. Если хотя бы половина этого правда, — он помолчал, — то на этих листах написано, как управлять погодой. Как переделывать живое. Как летать. И чем стрелять. Кто-то считает, что это правда. Кто-то, у кого достаточно денег, чтобы держать людей в Александрове три недели. И кто убивает стариков, чтобы получить это раньше других.

Жора медленно потёр лицо.

— Кто? — спросил он.

— Не знаю. — Максим помолчал. — Дед написал в министерство. Через четыре дня ему позвонили. Из Цюриха. Хрусталёв сказал — в мастерской был листок с номером телефона. Иностраный. И название. Какой-то консорциум. Я не запомнил. Что-то из мифологии.

Софья медленно подняла голову.

— Из мифологии, — повторила она.

— Да. Что-то греческое.

— Максим. — Голос у неё стал странный. — Вспомните. Пожалуйста. Это важно.

Максим закрыл глаза. Мастерская. Утро. Хрусталёв с красным носом, листает блокнот. Протягивает ему листок, вырванный из дедова календаря. Дедов почерк. Номер с плюсом и длинным кодом. И внизу, подчёркнуто дважды...

Он открыл глаза.

— «Прометей», — сказал он.

Никто ничего не сказал.

В тишине загудел системный блок — включился вентилятор. На стене, на обоях в цветочек, ещё угадывался бледный красный след — там, где горели буквы.

«Κύκλος Προμηθέως».

Тот, кто дал огонь, — смотрит, как горит.

\* \* \*

Виктор Альбертович Штерн стоял у окна своего кабинета на тридцать пятом этаже башни Прайм-Тауэр в Цюрихе и смотрел, как над озером поднимается солнце.

Он любил этот час. Город внизу ещё спал. Озеро было серым, потом розовым, потом золотым. Альпы на горизонте загорались одна за другой, как свечи. Штерн смотрел на них каждое утро уже девять лет и каждое утро думал одно и то же: вот так это будет. Не сразу. Не всё. Сначала одна вершина. Потом другая. Потом — весь горизонт.

На столе за его спиной лежал планшет. На экране — запись. Звук. Плохой, с шорохом, с провалами, — микрофон в старом смартфоне, который Георгий Ильич Бочаров, тридцати четырёх лет, ведущий разработчик одной крупной IT-компании, держал на стеллаже в двух метрах от стола и никогда не выключал. Георгий Ильич был параноиком. Он поставил в подъезде четыре камеры. Но он не подумал о том, что его собственный старый телефон, который он использовал как домашний сервер для этих камер, работает на прошивке, в которой люди Штерна полтора года назад нашли уязвимость.

Параноики никогда не думают о собственных вещах.

«...», Ἀτλαντίς“...»

Голос девушки. Ланская. Чистый, ровный, чуть хриплый от усталости.

«...», Προμηθεΐς“...»

Голос мальчишки. Внука.

Штерн смотрел на Альпы.

— Да, — сказал он вслух. Тихо. Себе. — Да, Максим Андреевич. Прометей.

Он повернулся к столу. Коснулся экрана. Запись остановилась.

Девять лет. Девять лет он искал. Архивы Ватикана, архивы Стамбула, Британская библиотека, частные коллекции, запасники музеев, чёрный рынок. Девять лет, сорок миллионов франков бюджета отдела, двести семнадцать проверенных легенд — и ничего. Обрывки. Намёки. Перевод с перевода. Строка в письме английского купца, побывавшего в Москве в тысяча пятьсот семьдесят первом году: «И говорят, у царя есть книги из белого железа, которые читают огнём». Одна строка. Девять лет.

И вот — сорок девять листов белого железа. На обоях в цветочек. В пятиэтажке на Преображенке.

Штерн взял телефон.

— Тихий.

— Да.

— Они прочитали оглавление. Ланская блестяща. Даже лучше, чем я думал.

— Мне начинать?

— Нет. — Штерн смотрел на экран, на застывшую волновую форму записи. — Пусть читают дальше. Пусть прочитают первую запись. Сахару. Там должно быть описание принципа. Хотя бы общее. Мне нужно понять, с чем мы имеем дело, прежде чем...

— Виктор Альбертович. — Голос Тихого был ровным, но в нём было что-то, чего Штерн раньше не слышал. — У меня проблема.

Штерн замолчал.

— Гусев, — сказал Тихий. — Он был с Ковальчуком в Чечне. В одном взводе. Они двадцать лет вместе. Я сказал ему ждать. Он не ждёт.

— Где он?

— Не знаю. Он отключил телефон сорок минут назад. С ним ещё двое из московской группы. Машина ушла с базы.

Штерн медленно опустился в кресло.

— Адрес Бочарова он знает?

— Он был на брифинге.

Пауза.

За окном над Цюрихским озером поднималось солнце. Альпы горели — все сразу, весь горизонт, от края до края.

— Найдите его, Тихий, — сказал Штерн. Голос его был всё таким же мягким. Но что-то в нём стало твёрдым, как платина. — Найдите его раньше, чем он найдёт их. Если с листьями что-то случится — если хоть один лист пропадёт, будет повреждён, попадёт в полицию, — вы ответите вместе с ним. Вы меня поняли?

— Понял.

Штерн положил телефон.

Посмотрел на планшет. На волновую форму записи. Коснулся экрана, отмотал на минуту назад.

«...Тот, кто дал огонь, — смотрит, как горит...»

Он слушал это три раза. Потом выключил планшет и долго сидел неподвижно, глядя на солнце над озером.

\* \* \*

В пятиэтажке на Преображенке, на пятом этаже, в комнате с задёрнутыми шторами, на одном из мониторов, который Жора забыл выключить, — на том, что показывал двор, — к подъезду медленно, без фар, подкатил чёрный внедорожник.

Остановился.

Из него вышли трое.

Никто в комнате этого не видел. Все трое смотрели на стол, где Софья только что положила под красный луч второй лист — тот, на котором пёс смотрел прямо вверх и было семь точек.

И на обоях в цветочек начали проступать слова о зелёной земле.

## Глава 5. Хапиловка

*Москва. 8 ноября 2026 года*

*«Мы показали им, как строить стены, чтобы защитить детей от зверя. Через одно поколение за этими стенами прятались от соседей. Через два — держали соседей».*

*Документ из Либереи. Запись Чуди о первых городах.*

— «В те дни, — диктовала Софья, — когда на месте песка паслись стада и вода стояла в низинах, как в чашах...»

— Макс, — сказал Жора.

Голос был такой, что Максим обернулся мгновенно.

Жора стоял у монитора. Лицо у него было серое.

На экране — лестничная клетка. Первый этаж. Трое мужчин. Двое — крупные, в тёмных куртках, в шапках. Третий — ещё крупнее, широкий, как шкаф, с короткой седой стрижкой, без шапки. Он стоял у двери подъезда и что-то делал с домофоном. Второй камерой — с улицы — было видно, как четвёртый, водитель, остался в чёрном внедорожнике у подъезда. Мотор работал.

— Домофон режут, — сказал Жора. — Провод. Чтоб я не открыл, если... — Он не закончил.

Седой выпрямился. Посмотрел прямо в камеру. Прямо в объектив, который Жора спрятал в плафоне над дверью и который не нашёл ни один сосед за два года.

Посмотрел — и улыбнулся.

Потом поднял руку и ударил по плафону. Экран погас.

— Он знает про камеры, — прошептал Жора.

Максим уже двигался.

\* \* \*

Листы — в кожу. Не слой за слоем, как в подzemелье, — комом, как получится. Медную пластину — в мешок. Всё — в рюкзак. Максим считал на ходу: сорок семь, сорок восемь, сорок девять. Все. Софья выдёргивала из розетки ноутбук Жоры — на нём была запись её перевода. Жора стоял у двери и смотрел в глазок.

— Лифта нет, — сказал Максим. — Пятый этаж. Сколько им идти?

— Секунд сорок. Если бегом.

— Чердак?

— Замок. Висячий. ЖЭК вешал.

— Ключ?

— У председателя.

Максим уже был в прихожей. Сдёргнул с крючка Жорину куртку — огромную, зимнюю, пуховую — и бросил Софье. Свою-то он так и не забрал. Вытащил из кучи снаряжения в углу свою каску с фонарём, моток верёвки, сумку с инструментами. Надел рюкзак.

— Жора. Идём.

Жора не двигался. Он смотрел в глазок.

— Жора!

— Я не пролезу, Макс.

— Что?

— На чердак. Там люк — сорок на сорок. Я в прошлом году проверял, когда антенну ставил. Не пролез. Пришлось звать соседа. — Жора повернулся. Лицо у него было серое и очень спокойное. — А дальше ты ведь не по крыше пойдёшь. Ты пойдёшь вниз. Под землю. По коллектору. Там, где ты лазишь, а я на верёвке стою. Я туда тоже не пролезу. Я знаю, Макс. Я двадцать лет на верёвке стою.

Внизу хлопнула дверь подъезда. Шаги на лестнице. Тяжёлые, быстрые.

— Я останусь, — сказал Жора. — Запрусь. Дверь у меня железная, я ставил после того велика. Буду с ними через дверь разговаривать. Минут пять выиграю. Может, десять.

— Нет.

— Да. — Жора шагнул к нему. Взял его за плечи. Огромными мягкими руками. — Макс. Им не я нужен. Им вот это нужно. — Он кивнул на рюкзак. — Нет этого — нет повода. Я — программист. Я в полицию позвоню. У меня камеры — ну, одна осталась, на лестнице выше. Всё пишется в облако. Они не дураки. Они не станут.

Шаги. Третий этаж.

— Жора...

— Иди, придурок.

Максим смотрел на него. Секунду. Одну.

Потом развернулся и выбежал на лестницу. Вверх. Софья — за ним.

За их спинами лязгнула Жорина железная дверь. Два замка. Засов.

Шаги. Четвёртый этаж.

\* \* \*

Замок на чердачном люке был новый, блестящий, китайский. Максим вскрыл его за двенадцать секунд — китайские всегда вскрываются быстрее советских. Откинул люк. Подсадил Софью — она взлетела наверх легко, как кошка, — подтянулся сам. Закрыл люк за собой.

Темнота. Пыль. Стекловата. Голуби, шархнувшиеся в углу. Запах — птичий, тёплый, затхлый.

Снизу, через перекрытие, донёсся грохот. Кто-то бил в железную дверь. Потом — голос. Жорин. Громкий, нарочито весёлый:

— Кто там? Почтальон Печкин? Я ничего не заказывал!

Удар.

— Ребята, у меня дверь — сталь три миллиметра, производство Беларусь. Вы её ногой не вынесете. А я уже в полицию звоню, слышите? Ноль два! Набираю!

Удар. Глухой, тяжёлый, страшный.

Максим стоял в темноте чердака, сжав кулаки, и слушал.

Софья взяла его за руку.

— Максим, — сказала она тихо. — Он купил нам время. Не трать его.

Он повернулся. Включил фонарь на каске.

Чердак пятиэтажки тянулся во всю длину дома. Четыре подъезда — четыре люка. Над каждым — деревянная лестница. Максим побежал. Пригибаясь под стропилами, перепрыгивая через трубы отопления, через ящики, через кучи старого хлама. Софья — за ним. Третий подъезд. Второй. Первый — самый дальний.

Люк первого подъезда был заперт снизу. Не на замок — на проволоку, скрученную в петлях. Максим ударил ногой. Раз. Два. Проволока лопнула. Люк упал вниз, на площадку пятого этажа, с грохотом, от которого, наверное, проснулся весь подъезд.

Плывать.

Вниз. Пятый этаж. Четвёртый. Бабка в халате на третьем, открывшая дверь на шум: «Это что такое?! Я в полицию...» — «Звоните, бабуль, обязательно звоните». Второй. Первый.

Не к выходу. Мимо выхода. Дальше, вниз, по короткой лестнице — к двери в подвал.

Железная, крашеная, с надписью «Посторонним вход воспрещён». Заперта. Максим ударил в неё плечом — без толку. Достал крючки. Руки дрожали. Он заставил их не дрожать.

Пятнадцать секунд.

Наверху, на улице, взвыл мотор. Хлопнула дверца машины.

Замок щёлкнул.

\* \* \*

Подвал хрущёвки — это не подвал. Это техподполье: метр шестьдесят высоты, трубы отопления, трубы водопровода, канализационные стояки, кабели, лужи, крысы, кошки, бомжи, которых не было, потому что в ноябре здесь было слишком холодно даже для них. Максим знал эти подвалы. Он знал их все. Они были одинаковые по всей Москве — одна серия, один проект, одни чертежи, тысячи домов. И в каждом, у торцевой стены, со стороны улицы, был колодец. Ввод теплотрассы.

Он нашёл его за минуту. Квадратная бетонная яма в полу. Решётка. Под решёткой — темнота и тёплый пар.

— Туда? — спросила Софья.

— Туда.

— А дальше?

— Дальше Хапиловка.

Он поднял решётку. Посветил вниз. Скобы в стене. Три метра. Внизу — бетонный лоток, трубы в изоляции, пар. Тепло. Двадцать градусов, а то и больше.

— Хапиловка, — повторила Софья. — Это что?

— Река.

— Какая река? Здесь нет реки.

— Есть, — сказал Максим. — Она течёт отсюда к Яузе. Под Преображенкой. Под Семёновской. Под Электrozаводской. Её закатали в трубу в тридцатые. Кирпичная труба. Два метра. Я ходил по ней раз двадцать. — Он помолчал. — Теплотрасса через двести метров её пересекает. Там старый ремонтный колодец. Я в прошлом году там спускался.

— А они?

— А они не знают, что под Москвой течёт сто пятьдесят рек.

Софья посмотрела в колодец. Потом на него.

— Ладно, — сказала она. — Я посчитаю скобы.

Она полезла первой.

Где-то над ними, в подъезде, хлопнула дверь. Голоса. Шаги. Кто-то крикнул: «Подвал! Подвал открыт!»

Максим спустился в колодец. Последнее, что он сделал, — потянул решётку на место. Тихо. Без звука.

\* \* \*

Теплотрасса тянулась под двором — бетонный короб высотой в метр двадцать, по которому приходилось идти согнувшись, почти на корточках. По бокам — две толстые трубы в рваной изоляции, горячие, обжигающие, если коснуться. Пар. Жара. Через пятьдесят метров Максим вспотел. Софья — тоже: Жорина куртка была ей велика в два раза, и она сбросила её, обвязала рукавами вокруг пояса.

— Сто, — сказала она. — Сто один. Сто два.

Сзади — ничего. Никаких шагов. Никакого света.

Пока.

— Двести, — сказала Софья. — Ты говорил, двести.

Максим остановился. Посветил вверх. Колодец. Бетонный, с ржавыми скобами. А в боковой стене лотка, у самого пола, — пролом. Неровная дыра в бетоне, полметра на полметра. За ней — кирпич. Красный, старый, мокрый.

Из пролома тянуло холодом и пахло водой.

— Это я сделал, — сказал Максим. — В прошлом году. Ну, не я. Тут уже трещина была. Я только расширил.

— Это законно?

— Нет.

Софья кивнула. Без удивления. Опустилась на колени перед проломом. Посмотрела в темноту.

— Там вода, — сказала она.

— По колено. Может, по пояс — дожди были.

— Холодная?

— Плюс пять.

Софья вздохнула. Посмотрела на свои джинсы, уже мокрые и грязные после подземелья под колокольной. На Жорину куртку вокруг пояса.

— Знаете, — сказала она, — вчера утром я сидела в Институте востоковедения на подоконнике и думала, что хуже этот день уже не станет.

И полезла в пролом.

\* \* \*

Хапиловка текла в темноте, как текла двести лет назад, когда была речкой с ивами по берегам, с мостками, с бабами, полоскавшими бельё, с мальчишками, ловившими пескарей. Теперь у неё не было берегов. Был кирпичный свод — овальный, высокий, в рост человека, местами осыпавшийся, местами заросший белыми натёками и бурыми полосами ржавчины. Был лоток, в котором стояла вода — чёрная, холодная, быстрая. И был звук. Тот особенный звук подземной реки, который Максим любил больше всех звуков на свете: эхо, журчание, капель, гулкое, многоголосое, как будто где-то впереди, в темноте, разговаривали тихими головами сотни людей.

Вода была по колено. Потом — до середины бедра. Холод вгрызался в ноги, как зубы.

Софья шла за ним. Он слышал, как она дышит — часто, сквозь зубы. Она не жаловалась. Она считала шаги. Шёпотом. Он перестал слушать числа и слушал только её голос.

Через триста шагов он остановился.

— Что? — шепнула Софья.

— Тихо.

Они стояли в воде. Слушали.

Река журчала. Капало со свода. Где-то далеко, наверху, глухо прогрехотал поезд метро — здесь, под Семёновской, линия шла совсем близко.

И сзади — плеск.

Не речной. Ритмичный. Шаги в воде.

Далеко. Метров двести. Может, триста. Но — шаги.

Максим обернулся. Посмотрел назад, в темноту, — туда, откуда они пришли. Далеко-далеко, у самого поворота, по своду скользнул бледный отсвет. Фонарь.

— Они нашли пролом, — шепнул он.

— Как?

— Не знаю. Может, следы на бетоне. Может, у них тепловизор. — Он выключил фонарь на каске. Темнота стала абсолютной. Чёрной, плотной, как вода. — Возьми меня за рюкзак. Не отпускай. Не говори.

— Ты же ничего не видишь.

— Мне не надо видеть. Я здесь был.

Он пошёл. В полной темноте. Ведя рукой по своду — по левой стене. Считая шаги про себя. Он помнил: через сорок шагов от места, где проходит линия метро, — справа будет приток. Боковая труба, поменьше. Бывший ручей, который когда-то впадал в Хапиловку, а теперь стал ливнёвкой. Узкая, в метр высотой. Оттуда можно выйти в старый коллектор под Измайловским валом. А дальше — к Яузе. Те, кто идут сзади, этого не знают. Те, кто идут сзади, идут по главной трубе. По течению. Вниз. Как все.

Тридцать восемь. Тридцать девять. Сорок.

Он провёл рукой по правой стене. Кирпич. Кирпич. Кирпич...

Пустота.

Проём. Узкий, круглый, на уровне пояса. Из него текла вода — тонкой струйкой, в главную трубу.

— Сюда, — шепнул он. — Пригнись. Сильно пригнись.

Они нырнули в проём.

Труба была узкой — метр, не больше. Идти можно было только согнувшись пополам, на полусогнутых ногах, касаясь свода спиной. Вода — по щиколотку. Холодная. Максим считал шаги. Двадцать. Тридцать. Сорок.

Остановился. Прижался к стене. Софья прижалась к нему.

Ждали.

Сзади, в главной трубе, по которой они только что шли, — шаги. Ближе. Громче. Плеск, плеск, плеск. И свет — бледный отсвет фонаря на воде, у входа в их трубу. Он пробежал по воде — и ушёл. Дальше. Вниз, по течению.

Шаги удалились.

Голоса. Приглушённые, злые. Один — молодой:

— Куда, на хрен, они делись?

Другой — низкий, хриплый, тяжёлый:

— Вперёд. Труба одна. Дется им некуда. На выходе возьмём.

Шаги. Всё дальше. Всё тише.

Тишина.

Максим не двигался. Он считал. Шестьдесят секунд. Сто двадцать. Сто восемьдесят.

Софья дрожала. Он чувствовал это всем телом — её плечо прижималось к его плечу, и её трясло. От холода. От страха. От всего сразу.

Он осторожно, медленно обнял её одной рукой. Прижал к себе.

Она не отстранилась.

Они стояли так в темноте, согнувшись пополам, в узкой трубе бывшего безымянного ручья, по щиколотку в ледяной воде, — может быть, минуту. Может быть, пять. Он не считал. Первый раз за двое суток он не считал.

— Жора, — сказала Софья тихо. Ему в плечо.

— Знаю.

— Что с ним?

— Не знаю.

Она помолчала.

— Он хороший.

— Он лучший, — сказал Максим. — Он двадцать лет стоит на верёвке.

Он включил фонарь. Жёлтый свет ударил в кирпичный свод, в чёрную воду, в её лицо — мокрое, грязное, бледное, с глиной на щеке. Она зажмурилась.

— Пойдём, — сказал он. — Через полкилометра будет выход.

\* \* \*

Георгий Ильич Бочаров лежал на полу собственной прихожей, лицом вниз, и смотрел на ботинок.

Ботинок был чёрный, армейский, на толстой рифлёной подошве. Он стоял в двадцати сантиметрах от его лица. Подошва была в снегу и в грязи. Снег таял. С подошвы на линолеум натекала маленькая грязная лужица.

Жора смотрел на неё и думал о том, что, если он сейчас умрёт, последнее, что он увидит в жизни, — это грязная лужа на собственном полу. И что он так и не помыл полы в прихожей, хотя мама просила ещё в сентябре.

Дверь — стальную, три миллиметра, производства Беларуси — они не вынесли. Они её срезали. Болгаркой. За четыре минуты. Он слышал визг диска, видел, как сквозь металл у

замка лезут искры. Он успел позвонить в полицию. Он сказал адрес. Он даже успел сказать «грабят». А потом дверь упала внутрь, и седой человек вошёл в квартиру, не сказав ни слова, и ударил его.

Жора не помнил, сколько раз. Он помнил только, что седой бил молча и спокойно, как работал. Как будто разгружал вагон. И что каждый раз, перед тем как ударить, спрашивал одно и то же. Тихо.

«Куда».

Не «куда они пошли». Просто — «куда».

Жора не сказал. Он не знал, куда. То есть знал, примерно. Под землю. Но под Москвой сто пятьдесят рек, тысячи километров коллекторов, и Макс знает их все, а Жора — только те, у которых стоял на верёвке. И если бы даже знал...

Он бы не сказал. Он это про себя понял где-то после пятого удара. Удивился. Он никогда не думал, что он такой.

Сейчас седой стоял над ним. Это был его ботинок, в двадцати сантиметрах от лица. Седой говорил по телефону. Жора слышал голос — низкий, хриплый:

«...Ушли в коллектор. Мои за ними. Внизу, у реки, Санёк с машиной. Возьмём. А этот... Этот ничего не знает. Или молчит. Сейчас ещё раз спрошу».

Ботинок сдвинулся.

Жора закрыл глаза.

И услышал другой голос. Спокойный. Негромкий. Совершенно бесцветный.

— Гусев.

Ботинок замер.

— Положи телефон.

Тишина. Долгая. Жора открыл глаза. Скосил их вверх — насколько мог.

В дверном проёме, на месте срезанной двери, стоял человек. Обычный. Средний рост. Тёмная куртка. Серое лицо, которое забываешь через минуту. И глаза — светлые, почти бесцветные, как вода в стакане.

— Положи телефон, Гусев, — повторил человек. — И отзови своих из коллектора. Это приказ Штерна.

— Да пошёл он, твой Штерн. — Голос седого стал ещё ниже. — Он Ковальку в колодец спустил. Своими руками. «Пусть идут, пусть спускаются». Спустились, твою... Двадцать лет, понял? Двадцать лет с ним. Из Грозного вместе выходили. А теперь он там, на дне, и его даже не достанут.

— Я понимаю.

— Ни хрена ты не понимаешь. Ты вообще ничего не понимаешь. Ты не человек, ты...

— Гусев.

Тихий не повысил голос. Он даже не пошевелился. Он просто сказал имя — и Жора увидел, как ботинок седого медленно, очень медленно отступил назад. На шаг.

— Если с листьями что-то случится, — сказал Тихий, — если ты их достанешь в коллекторе и в драке хоть один погнёшь, утопишь, потеряешь, — Штерн сделает с тобой то, что сделали с Ковальчуком. Только медленнее. И с твоими. С Ленкой. С мальчиком. Ты же знаешь Штерна. Ты же знаешь, как он вежливо разговаривает.

Тишина.

Седой стоял. Дышал тяжело, со свистом.

Потом поднял телефон к уху.

— Санёк, — сказал он хрипло. — Отбой. Отходите. Все. Да. Я сказал — все.

Он опустил телефон. Посмотрел на Жору. Сверху вниз. С такой ненавистью, что Жоре захотелось снова закрыть глаза.

Но Тихий уже был рядом. Он присел на корточки возле Жоры. Посмотрел ему в лицо. Внимательно, без выражения. Как смотрят на сломанный механизм.

— Георгий Ильич, — сказал он. — Вы меня слышите?

Жора хотел ответить. Не получилось. Из рта шло что-то тёплое и солёное.

— Скорая будет через семь минут, — сказал Тихий. — Я вызвал. Полиция — через девять. Мы уйдём через две. Вы скажете им, что вас ограбили. Двое. Лица не разглядели. Это будет правильно. Для вас. Для вашей мамы. Она ведь живёт на Щёлковской, да? Квартира сорок семь.

Жора смотрел на него.

— Вот и хорошо, — сказал Тихий. Встал. — Выздоровливайте.

Он перешагнул через Жору, как перешагивают через лужу, и вышел. Седой — за ним. Тяжёлые шаги на лестнице. Хлопнула дверь подъезда. Мотор.

Тишина.

Жора лежал на полу и смотрел на грязную лужицу от ботинка. Она медленно растекалась по линолеуму.

Потом он услышал сирену. Далеко. Потом ближе.

Он закрыл глаза.

\* \* \*

Выход из старого коллектора под Измайловским валом был там, где Максим его помнил: решётка в бетонной стенке, над самой водой Яузы, под гранитной набережной, в двухстах метрах ниже Электрозаводского моста. Решётка была подпилена давно — не им, кем-то до него, — и держалась на одном пруте. Максим отогнул её. Выглянул.

Темнело. Ноябрь — в пять уже сумерки. На той стороне Яузы горели огни завода. Над водой стоял туман. Ни души на набережной. Ни одной машины.

Ни чёрного внедорожника.

Он вылез. Подал руку Софье. Она вылезла — грязная, мокрая по пояс, дрожащая, в Жориной куртке, которую она снова натянула на себя у выхода, — и встала рядом с ним на узкий бетонный уступ над водой.

Яуза текла мимо. Чёрная, медленная, в масляных пятнах фонарей.

— Где мы? — спросила Софья. Зубы у неё стучали.

— Электрозаводская.

— А куда мы идём?

Максим посмотрел на ту сторону реки. На тёмные корпуса старого завода — красный кирпич, высокие окна, заколоченные досками, трубы. Московский электроламповый. Закрыт пятнадцать лет назад. Половину корпусов снесли под жилой комплекс, вторую половину не успели — кончились деньги у застройщика.

А под заводом — то, о чём не знали ни застройщики, ни городские власти, ни, кажется, сам завод.

— На базу, — сказал Максим.

— На какую базу?

— Бомбоубежище. Пятидесятых годов. Под третьим корпусом. Мы его с Жорой нашли шесть лет назад. Сухое. С генератором. С нарами. Там есть одеяла. Чайник. Газовая плитка. Мы туда ходили, когда хотелось... — Он помолчал. — Когда хотелось, чтобы никто не нашёл.

Софья смотрела на тёмные корпуса.

— Про него знает Жора, — сказала она тихо.

— Да.

— А если они...

— Жора не скажет.

Он сказал это так, что Софья больше ничего не спросила.

\* \* \*

Убежище было сухим, как он и обещал. Бетонные стены, покрашенные до половины зелёной краской. Тяжёлая гермодверь с колесом-штурвалом. Нары в два яруса. Плакаты гражданской обороны на стенах — выцветшие, с людьми в противогазах. Стол. Три табурета. Генератор в отдельной комнате, который Максим завёл с третьей попытки, и лампочки под потолком — жёлтые, тусклые, мигающие.

Он нашёл одеяла. Сухие свитера — свои и Жорины. Газовую плитку. Чайник. Банку растворимого кофе. Пачку печенья, просроченного на полгода.

Софья переоделась за нарами. Вышла — в его свитере, который был ей до колен, в Жориних шерстяных носках, в одеяле поверх всего. С мокрыми волосами, забранными назад. Села на нару, поджав ноги.

Максим протянул ей кружку. Кофе. Горячий.

Она взяла обеими руками.

— Спасибо, — сказала она.

— Пожалуйста.

Он сел напротив. На табурет. Рюкзак стоял у его ног. Он так и не выпустил его из виду ни на секунду за весь день.

Они пили кофе. Молча. Генератор гудел за стеной.

— Максим, — сказала Софья.

— Да.

— Я на «ты» перешла. Там, в трубе. Ты заметил?

— Заметил.

— Это ничего?

Он посмотрел на неё. На свой свитер на ней. На мокрые волосы. На кружку в её руках — пальцы с обломанными ногтями, в царапинах, в глине.

— Это хорошо, — сказал он.

Она чуть улыбнулась. Отвернулась. Посмотрела на плакат с человеком в противогазе.

И тут у Максима в кармане завибрировал телефон.

Он вздрогнул. Достал. Телефон был мокрый, но живой — он всегда покупал защищённые, для работы под землёй.

Сообщение. Номер незнакомый. Без текста. Только фотография.

Больничная палата. Койка. На койке — Жора. Огромный, рыжий, с перебинтованной головой, с синим, распухшим лицом, с капельницей в руке. Глаза закрыты. Но грудь поднимается. Он дышал.

А под фотографией — одна строчка.

«Он жив. Скорую вызвал я. Нам нужно поговорить, Максим Андреевич. Т.»

Максим смотрел на экран.

Он вспомнил голос. Бесцветный, вежливый. «Я предлагал ему вызвать скорую. Он отказался».

Софья наклонилась вперёд. Посмотрела на экран через его руку. Он почувствовал, как она замерла.

— Это он, — сказала она. — Тот, на лестнице.

— Да.

Телефон в его руке снова завибрировал. Второе сообщение. Тот же номер.

«Не выключайте телефон. Мы и так знаем, где вы. Бомбоубежище под третьим корпусом МЭЛЗа. Гермодверь не поможет. Но к вам никто не придёт. Пока. Читайте. Мы подождём».

Генератор гудел за стеной.

Лампочка под потолком мигнула — раз, другой — и загорелась снова.

## Глава 6. Зелёная земля

*Запись Либерей. Лист второй. Великое озеро, около 3500 года до н. э.*

*«Мы дали им дождь, о котором они молились. Они спросили, можно ли сделать так, чтобы дождь не шёл над соседом».*

*Документ из Либерей. Запись Атлантиды. Лист второй, поля.*

*Лёва, дальше будет не про нас. Дальше будет то, что было на втором листе. Мама переводила его всю ночь, в бомбоубежище под старым заводом, при жёлтой лампочке, которая мигала каждые несколько минут, — и я записывал за ней в Жорин ноутбук. Там сухо: имена, числа, «дали», «взяли», «итог». Как протокол. Я перескажу так, как увидел это тогда, когда она читала. Иначе ты не поймёшь. Иначе я сам не понимаю.*

\* \* \*

Озеро было таким большим, что с одного берега не было видно другого.

Ана-Тиу знала это с детства. Знала так же твёрдо, как знала, что солнце встаёт над тростником, а садится за горами, что у быков бывают рога в форме лиры, а у коз — в форме серпа, и что, если идти вдоль воды на восход сорок дней, вода не кончится. Её бабка говорила, что озеро — это глаз неба. Небо смотрит в него и видит себя. А когда небо сердится, глаз мутнеет, и тогда надо петь.

Ана-Тиу умела петь.

Ей было двадцать шесть зим, и девять из них она была Голосом Дождя. Так называли ту, кто поднимается на Красную скалу в начале сухой луны, встаёт на плоский камень над водой — там, где на скале нарисованы охрой люди с круглыми головами и быки с белыми пятнами, — и поёт небу. Долго. День. Ночь. Ещё день. Пока небо не услышит.

Небо слышало почти всегда.

Почти.

В тот год, когда пришли Люди Моря, оно не слышало.

\* \* \*

Сухая луна тянулась и тянулась. Трава у озера стала жёлтой, потом серой. Вода отступила от берега на сто шагов, потом на двести, обнажив белую потрескавшуюся глину, на которой лежали, разинув рты, мёртвые рыбы. Быки ревели по ночам. Козы ели кору. Старики говорили, что так было при их дедах — один раз, — и тогда умерла половина деревни.

Ана-Тиу пела семь дней.

На восьмой день она упала на Красной скале, и её принесли вниз на руках, и мать плакала над ней, а царь Мерсу стоял в дверях хижины, большой, в шкуре леопарда, с ожерельем из клыков на груди, и смотрел на неё так, как смотрят на копьё, которое сломалось в бою.

— Небо не слышит, — сказал он.

— Небо слышит, — прошептала Ана-Тиу. — Небо отвечает «нет».

Мерсу ничего не сказал. Повернулся и вышел.

А на следующее утро с запада, по озеру, пришли лодки.

\* \* \*

Их было три. Не лодки — Ана-Тиу не знала другого слова. Длинные, узкие, серебристые, как рыбье брюхо, без вёсел, без парусов. Они шли по воде сами. Тихо. Ровно. Против ветра. Они не качались на волнах — волны расступались перед ними, как трава перед змеей.

Вся деревня вышла на берег. Дети. Старики. Женщины с младенцами. Воины с копьями — триста копий, всё, что было у царя Мерсу. Ана-Тиу стояла среди них, ещё слабая, держась за плечо матери.

Лодки остановились в двадцати шагах от берега. Над водой.

Не на воде. Над водой. На высоте ладони. Ана-Тиу видела, как под ними блестит озеро — и между лодкой и водой был воздух.

Люди в деревне закричали. Кто-то упал на колени. Кто-то побежал. Воины подняли копья.

Из средней лодки вышли трое.

Высокие — выше любого человека в деревне на голову. Худые. В одеждах, которые казались то белыми, то голубыми, то серыми, — цвет менялся, как цвет воды под облаками. Головы — без волос. Кожа — светлая, светлее, чем у кого-либо, кого Ана-Тиу видела в жизни. А глаза...

Ана-Тиу потом пыталась рассказать о глазах. Себе. Матери. Никто не понимал. Они были как озеро. Как само озеро — большое, глубокое, спокойное, в котором небо видит себя.

Один из троих поднял руку. Ладонью вперёд.

И Ана-Тиу услышала голос.

Не ушами. Внутри. Где-то за глазами, в том месте, откуда она пела небу. Голос был спокойный, медленный, без мужского и без женского — как будто говорило само озеро.

*Мы пришли с моря. Мы видим, что вы умираете от жажды. Мы можем помочь.*

Вокруг неё люди падали на колени. Все. Даже воины. Даже старики. Даже царь Мерсу — она видела, как его огромная фигура в шкуре леопарда медленно опустилась на одно колено на потрескавшейся глине.

Ана-Тиу не упала.

Она стояла и смотрела в озёрные глаза человека из лодки. И он смотрел на неё.

*Ты, — сказал голос. — Ты — та, что поёт.*

— Да, — сказала она вслух.

*Ты пела семь дней. Мы слышали. С моря. — Пауза. — Небо не отвечало тебе не потому, что оно тебя не слышало. Над вашей землёй сломалось течение воздуха. Далеко отсюда, за горами. Тучи идут мимо. Песней этого не исправить.*

— А чем исправить?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.